

# Мэ Мария Метлицкая

— Рассказы разных лет —



Странная  
женщина



## Annotation

Как часто женщины поступают странно, нелогично, даже неразумно, с точки зрения рациональных людей. Выбирают в мужа не состоятельного карьериста, а нищего и «бесперспективного» студента. Идут наперекор родительской воле, тем самым лишая себя поддержки близких. Всю жизнь ждут от мужа слов любви, зная, что он любит другую. Но ведь для женщины главное – любить. А там, где речь идет о чувствах, правильным, рациональным поступкам нет места. И пусть ее называют странной, пусть даже считают несчастной. Она-то знает, что счастлива. Потому что любит.

---

- [Мария Метлицкая](#)
  - [Дом творчества](#)
  - [Странная женщина](#)
    - [День Рождения](#)
    - [Родителей не выбирают](#)
    - [Куда деваться – гуляем!](#)
    - [Вся жизнь впереди, надейся и жди!](#)
    - [У всех свои горести...](#)
    - [Чужие люди](#)
    - [А нам все равно!](#)
    - [Семья... какая ни есть](#)
    - [Так не бывает! Ты меня... предал?](#)
    - [Я буду жить, слышите? Буду! Всем назло!](#)
    - [Так бывает, любимая, но ты – не узнаешь](#)
    - [Другая жизнь](#)
    - [Чужой город](#)
    - [Еще одно горе](#)
    - [Дай им бог, заслужили](#)
    - [Лена](#)
    - [Да все хорошо. Честное слово!](#)
    - [Праздник! Праздник?](#)
    - [И все-таки – жизнь!](#)
    - [Глупая и все-таки... счастливая?](#)
    - [Спасибо за все и – прости!](#)
    - [Чтобы я поняла?](#)
    - [Чтобы я понял?](#)

- [Вечнозеленый Любочкин](#)
  - [Любовь – нелюбовь](#)
  - [Зачем вы, девочки...](#)
  - [Любовь к жизни](#)
  - [Легко на сердце](#)
  - [Божий подарок](#)
  - [Ассоциации, или Жизнь женщины](#)
  - [Грета](#)
-

**Мария Метлицкая**  
**Странная женщина (сборник)**

## Дом творчества

На ужин давали селедку и винегрет. Нина сидела за столиком у входной двери и пила темный безвкусный чай, пахнувший прелой травой.

Мужики негромко и недовольно ворчали: дескать, что за рацион? С копыт рухнешь. Гобеленщица Тамара, узкая в фас и особенно в профиль, очень похожая на грустную лошадь, моталась у окна раздачи в надежде выпросить добавки. Скульпторша Лида Власова, с мощным бюстом и крупными, почти мужскими руками, единственная, кто позволил себе возмущаться в голос, кричала на толстую повариху в высоком белом колпаке и требовала жалобную книгу.

– Воруете! – яростно возмущалась Лида и порывалась проверить сумки поварихи и подавальщицы.

Ушлая повариха вяло отбредивалась и книгу жалоб давать не хотела. Лида грамотно, по возрастающей, развивала скандал. Возле нее начала собираться группа поддержки.

Нина подумала, что надо взять в номер побольше хлеба: там, в номере, есть кипятыльник, чай, сахар и варенье. Она под шумок подошла к голубому пластиковому столу, где в больших эмалированных тазах лежал крупно нарезанный хлеб – черный и белый. Оглядываясь и краснея, Нина стала запихивать хлеб в пакет и тут услышала звонкий крик.

– Вот! – узнала она визгливый голос официантки Зойки. – И это кто еще ворует?! Посмотрите на нее! Если все так будут тырить!.. – верещала Зойка.

Нина покраснела и замерла. Зойка, тощая, злющая, с пергидролевым хвостом на затылке, самозабвенно ненавидела всех женщин без исключения. Грохала тарелки перед ними так, что разлетались брызги. И ее почему-то все побаивались.

Лида Власова, услышав Зойкин крик, пошла на таран. Являя собой всю мировую справедливость, она приперла субтильную Зойку мощным бюстом к стене.

– Жируешь тут за наш счет? – грозно сдвинув брови, спросила Лида. – И еще хамишь культурным людям?

На «жирующую» тощая и взъерошенная Зойка явно не тянула. Хамка из нее выходила отменная, но хоть Зойка и была не из пугливых, при виде Лидиной мощи даже ее пыл поутих.

– Жалобу будем писать! Коллективную! – угрожающе пообещала

Лида. – И в Союз художников, и в ревизионную, и в прокуратуру.

– Сидите тут на всем готовом и еще недовольны, – чуть сбавила обороты Зойка.

Лида пошла к выходу и у двери обернулась:

– Управу найдем, не сомневайтесь.

Последнее слово осталось, как всегда, за ней. Лида вышла, скандал постепенно стал сходить на нет. Больше смельчаков не нашлось. Нина тихо выскользнула из столовой и пошла в свой номер.

В номере было холодно и выстужено и дуло из всех щелей. Нина села на кровать, накинула на себя одеяло и разревелась. Сколько унижений может вынести человек? От всех, с самого детства. От вредной мачехи, истеричной классной. От заказчика, худсовета. От мерзкой хамки официантки. От кондуктора в автобусе. От паспортистки в жэке. И наконец, от самого главного человека в своей жизни – самые большие унижения. От которых она, кстати, и сбежала в этот забытый богом городишко, в этот унылый пансионат для «творцов», выбить путевку в который тоже оказалось еще каким унижением.

Путевки давали с огромным одолжением. Сначала – бесконечная очередь. Потом – комиссия и рассмотрение заявления. Дурацкие унижительные вопросы. Но все равно попасть сюда считалось удачей и почти благом, несмотря на холодные номера, серое постельное белье, жесткие солдатские одеяла, нищенскую кормежку и откровенно вороватый и хамоватый персонал.

Путевку давали на два месяца – а значит, два месяца можно не думать о куске хлеба, об оплате счетов за электричество в мастерской. О непостоянных и капризных заказчиках. К тому же здесь выдавали (бесплатно, разумеется) глину, холсты, подрамники, краски, кисти, разрешали пользоваться муфельными печами.

Здесь не было крикливых детей, сварливых тещ и жен и хронически недовольных мужей. И еще было чудное озеро, где когда-то развлекался длинноногий царь-подросток со своими «потешными» суденышками, что стало предтечей его дальнейшей великой судьбы. К озеру исправно возил многочисленных туристов маленький паровозик со смешным названием «кукушка».

Да и в городишке, как водится, нищем и убогом, тоже была, конечно, своя среднерусская прелесть. И покосившиеся домишки в один этаж с геранью на окнах и толстыми полосатыми котами на подоконниках, и потрескавшиеся резные наличники, и неровная брусчатая мостовая. И заброшенный монастырь с высокой и гордой колокольней. И добродушный,

неприхотливый, смешно окающий сильно пьющий народец, полный непонятного оптимизма, не забывающий, впрочем, клясть при этом свою горькую судьбу.

В самом доме затевались бесконечные романы и порой кипели нешуточные страсти. И даже, несмотря на, казалось бы, размеренность жизни, случались и истинные драмы. Но Нине это было вовсе ни к чему. Ведь именно от драм и страстей ей хотелось укрыться и отдохнуть – хотя бы на пару месяцев.

Она налила в литровую банку мутноватой и желтой воды, еще раз тяжело вздохнула и воткнула кипятильник в розетку. Опять села на кровать, накинула одеяло и стала ждать, пока закипит вода. Но вода и не думала закипать. Нина потрогала кипятильник и сказала вслух:

– Сдох. И ты, гад, против меня!

И снова громко, в голос, разревелась. Подумала, что выпила бы сейчас крепкого и сладкого чаю и съела бы бутерброд с белым хлебом и докторской колбасой, а потом легла бы в кровать, укуталась в одеяло и блаженно закрыла глаза. Но чая не было, увы, и докторской колбасы, кстати, тоже. Значит, придется жевать всухомятку черный хлеб, а завтра непременно разболится желудок – ну, это уж как водится!

Нина медленно раскачивалась на кровати и тихонько подвывала. В Дом творчества она сбежала от своего утомительного, тянущегося, как старый клей, затяжного и бестолкового романа, измучившего и вконец измотавшего ее за долгих четыре года. Предмет ее страданий был глубоко и устойчиво женат, имел двоих детей и радостно сообщал Нине, что останавливаться на достигнутом они с женой точно не собираются. Он был довольно успешный живописец, в последние несколько лет неожиданно и быстро ставший популярным, нещадно эксплуатируя псевдорусскую тему, которая потихоньку начала входить в моду. Жена его, высокая волоокая красавица, дом вела умело и грамотно: нужные люди, красивые вещи, обильные столы... Спецшколы, музыка и бассейн для детей. Уверенная, четкая, собранная женщина. Надежный тыл и оплот. Лучше жены не найти. И он и не искал. Что его связывало с одинокой, неустроенной и вечно тоскующей Ниной? Духовная общность – он любил точные формулировки. Жена его была далека от терзаний и творческих мук. Наверное, ему было необходимо нечасто, примерно в две недели раз, зажечь в полуподвале мастерской свечи, налить в узкие бокалы (эстет) вина, взгрустнуть и задуматься о смысле жизни. И чтобы рядом непременно была женщина – тонко чувствующая и, безусловно, влюбленная. Читающая, например, печально и нараспев Ахматову или Блока. И чтобы тихо, чуть

приглушенно, звучала музыка – Брамс или Вивальди.

Нина сидела на диване, обхватив руками колени, держала в тонких пальцах бокал с вином и читала чуть срывающимся голосом любимые стихи, он устраивался напротив в большом и уютном кресле, закрывал глаза и в такт музыке покачивал головой. Потом он садился в новенькую «Волгу» и торопился домой – к борщам и пирогам. К уюту и спокойствию. К теплым тапочкам и телевизору. К чему привык и без чего не мыслил жизни. А Нина оставалась одна – застилала кровать, тушила оплывшие свечи, мыла бокалы и убирала пластинки в конверты. Потом надевала сапоги, застегивала пальтецо и выходила в стылую ночь.

Ехала на окраину, в далекий спальный район. От последней станции метро – еще почти полчаса на автобусе. Жила она с вечным подкаблучником-отцом и вредной и болезненной мачехой, никак не рассчитывавшей на то, что нелюбимая падчерица до зрелых лет задержится в девках и «останется камнем на шее до таких вот лет». Мачеха мечтала о спальне – полированной, темно-коричневой. С широкой кроватью с резной спинкой и обязательно с пышным розовым шелковым покрывалом с оборками, а также с большим и глубоким шкафом и, конечно, с трюмо. А вторую, маленькую, комнату по-прежнему занимала «неудачница» Нина.

Официантка Зойка, собрав после ужина со столов посуду, устало опустилась на стул, пристроив худые ноги в толстых шерстяных носках на табуретку, и затянулась сигаретой.

– Сделай кофейку, Игнатьевна! – попросила она повариху.

Домой Зойка не торопилась. Что там, дома? Вечно недовольная мать и сыночек Вовка, бездельник и балбес, с очередной двойкой в дневнике. Надоело все до смерти! Обрыдло просто.

Игнатьевна щедро кинула в стакан две ложки бразильского растворимого, спасибо, есть свои люди на базе, нарезала щедро сыру с колбасой и плюхнула перед Зойкой тарелку.

Зойку она жалела – дерганая, тощая, несчастная. Только Игнатьевна была в курсе, что своего непутевого Вовку Зойка родила девять лет назад от заезжего художника. Он про это так и не узнал. Да и вообще, всю эту бородатую шатию-братию Игнатьевна не уважала, даже слегка презирала, считая их бездельниками.

Еще Игнатьевна обожала индийские фильмы и рассказы о любви. Например, про Зойкин роман с тем, из Москвы. Зойка все вспоминала, что он называл ее музой и даже писал ее портрет. Потом, правда, сказал, что не получилось, и порвал его. Зойка тогда три дня ревела. Очень ей хотелось,



чтобы после их любви остался хотя бы портрет, а остался сын Вовка – смешной и конопатый и, конечно же, самый любимый, но портрета все равно было жалко.

У Зойки хоть и не было портрета, но был сынок – плоть и кровь, надежда на старость. А вот у Игнатъевны не было никого, кроме троюродной сестры, живущей в деревне. Зато у Игнатъевны имелся крепкий и теплый дом, большой цветной телевизор и немецкий палас на стене. И даже югославская полированная стенка, добытая в Москве с бешеным трудом и за бешеные же деньги. Раз в две недели Игнатъевна собирала тяжеленные баулы и на двух автобусах тащила к сестре в деревню. Та равнодушно разбирала сумки и, прищурившись, приговаривала:

– Все воруюшь? Сама уже сожрать не можешь, а все хапаешь!

Игнатъевна плакала и клялась себе, что больше к сестре не поедет. Но проходило две недели, и она опять собирала сумки. А куда деваться? Одна на всем белом свете. А тут какая-никакая, а родня.

Зойка шумно, с прихлебом, пила кофе и обсуждала вечерний скандал.

– Жалобу они напишут! Испугали! – возмущалась она.

Но это была, конечно, бравада, за места в столовой держались крепко. Попробуй выжить, когда в магазине один маргарин и томатная паста.

– А эта кобыла Власова! – продолжала возмущаться Зойка. – Скоро в дверь не пройдет, а все туда же! Мясо ей подавай, кобыла толстожопая!

Игнатъевна пила чай вприкуску и кивала.

– Нет, правда, совсем обнаглели! Сидят тут на всем готовом и ни черта не делают. Здесь им не ресторан, а Дом твор-чест-ва, – по складам произнесла официантка. – Вот и творите на здоровье! Вас сюда работать прислали, а не деликатесы жрать! – обращалась Зойка к предполагаемому народу, кивая пустому залу столовой.

Допив кофе и повыступав, она стала собираться домой.

– Возьми тут, – кивнула Игнатъевна на коричневую клеенчатую сумку. Там стояла банка с винегретом, лежало несколько кубиков сливочного масла и небольшой брусок сыра.

– Вот и ужин, – всхлипнула Зойка. – Спасибо тебе, Игнатъевна! Пропала бы я без тебя.

– Иди уж, – смущенно махнула рукой старуха, – поторапливайся!

Вздыхнула, глядя на понурую Зойкину спину, и перекрестила ее вслед. Жалко, конечно, девку, пострадала она за любовь. И теперь не одна, а с дитем. Смахнула слезу и засобиравалась домой.

А Зойка, загребая размокшую под ногами грязь, медленно брела по

темным улицам, думая о несправедливости жизни и жалея себя, одинокую и никому не нужную. Никем не понятую и всеми обиженную – злобной Лидкой Власовой, вечно недовольной матерью, двоечником Вовкой и директором Петром Гаврилычем, от которого вечно получаешь выговоры и тычки. Ни единого доброго слова ни от кого. Выживай как знаешь. И никому ты, по большому счету, не нужна. А ведь была когда-то Зойка звонкая и веселая. Громче всех пела в хоре про любовь и верность. А где они, эта любовь и эта верность? Только в песнях, книжках и художественных фильмах. А в жизни... Одна морока и разочарование. И все.

Нина проснулась рано, от холода. Потрогала ледяной нос и укрылась одеялом с головой. Вылезать из постели не хотелось, но через двадцать минут начинался завтрак, а потом надо было идти работать.

С лицом оскорбленной добродетели и поджатыми губами Зойка разносила завтрак – тарелки с застывшими «блинчиками» манной каши. На каждом столе стоял алюминиевый чайник с жидким какао.

Вошла Лида Власова и под села к Нине.

– Грустишь? – поинтересовалась она.

Нина кивнула и махнула рукой.

– Приходи сегодня вечером ко мне, – сказала Лида. – Чайку погоняем, винца попьем. А то совсем скука смертная. Работа не идет, на душе тоска.

– Это точно, – согласилась Нина.

После завтрака она пошла в мастерскую, села на стул и с грустью оглядела свои творения. Тяжело вздохнув, взяла в руки пузатый чайник и попыталась представить, в каком цвете ей хотелось бы его увидеть. Посмотрела в окно и увидела, что за ночь почти облетел раскидистый и высокий клен. Моросил мелкий занудный дождь, а потом с неба густо посыпалась мелкая белая крошка.

«Скоро, совсем скоро зима», – подумала Нина. Ей вспомнились строчки забытого стихотворения: «А с неба сыпалась, летела сухая белая крупа. Как знать, чего от нас хотела любовь, которая слепа».

Она задумчиво повертела в руках уже обожженный черепок и взяла тонкую кисть. Потом приготовила белила и кобальт. Никаких охры и кадмия – только радующие глаз яркие цвета. Постепенно на чайнике расцветали белые и синие хризантемы. Нина поставила чайник перед собой, оглядела и, кажется, осталась довольна. Затем опустила расписанный чайник в чан с молочной глазурью и оставила его подсыхать, а потом принялась за чашки и блюдца. Вечером она включит печку и

отправит туда все это хозяйство – а завтра утром появится новый сервиз. И называться он будет так: «Зима. Настроение».

Нина работала так увлеченно, что забыла про все свои беды и горести. Ей хотелось поскорее разобраться с чашками и взяться за поднос. Расписывать подносы она любила больше всего. Крученые витые ручки подноса должны быть обязательно синего цвета, а поле ей захотелось сделать белым и непременно с серебром. Да, да, обязательно тонкие серебристые листья – зимнее настроение, радость и ожидание, никакой угрюмости и депрессии. Ведь зима – это уже надежда на весну. Как говорила Нинина бабушка, переживем зиму, а там и переживем все остальное.

В столовой Зойка резала хлеб и разливала в граненые стаканы тягучий бурый кисель.

– Все, скоро жди нашествия, – зло шипела она.

Громко из зала рассказывала Игнатьевне, что ее опять вызывают к Вовке в школу:

– Достали – дальше некуда. Учительница – старая крыса, и ей обязательно надо отнести коробку конфет. А где ее взять? Ты бы, Игнатьевна, помогла, а? Ну, через базу?

– Сделаем, – кивнула Игнатьевна.

Зойка тяжело вздыхала.

После обеда многие расходились по номерам, поспать. А Нина решила прогуляться. Город был пуст и тих.

– Сиеста, – усмехнулась она.

В магазинчике она купила твердое овсяное печенье и липкую карамель без обертки, посыпанную сахаром. В киоске взяла свежие газеты, а в винном, отстояв приличную очередь, – бутылку любимого венгерского «Токая» – недешевого, потому не пользовавшегося спросом у местного населения.

Вернувшись, зашла в мастерскую, проверила печь и пошла в номер – поваляться и почитать.

Вечером собрались у Лиды. В комнате Лиды было тепло – работал калорифер.

– Ну, Лидка, ты даешь! – восхитилась Нина. – Это ведь строго запрещено, – она кивнула на обогреватель.

– В гробу я их всех видала, – буркнула Лидка. – Что ж, теперь из-за их экономии всем тут околеть?

Заварили крепкого чаю, нарезали сыра и открыли вино. Лида

жаловалась на мужа. Муж-инженер получал совсем мало, но, правда, следил за детьми. А их у Лиды, между прочим, было трое.

– Я в доме мужик, – вздыхала Лидка. – И ремонт, и машина, и деньги – все на мне. А он моет посуду и проверяет у детей уроки.

Лида глотнула вина и затянулась сигаретой.

– Тоже хорошо, – улыбнулась Нина.

– Хорошо, – грустно кивнула Лида. – Только очень хочется бабой побыть, понимаешь? Ну, чтобы пожалели, по головке погладили. Ты посмотри, какой у меня плечевой пояс. А какие ручищи? А ведь хочется быть тонкой, звонкой и прозрачной. Женщиной, понимаешь?

Нина кивнула.

– Ну все-таки не гневи бога, Лидка! Какой-никакой, а муж. И детишки прекрасные. И квартира, и машина. И заказы, слава богу, есть.

– Есть, – согласилась Лида. – Только мне до тошноты надоели сталебары и Ильичи. И колхозные съезды, и детские площадки. Ты хоть от души посуду свою малюешь.

– Это да, – кивнула Нина. – Только ведь знаешь, как все это продается. Салоны берут плохо, а частники хотят немцев или японцев. Им вся эта авторская байда по барабану.

Лида разлила по стаканам вино.

– За нас, красивых!

Обе чокнулись и рассмеялись.

– Да и потом, какая из меня принцесса? – Лида вытянула перед собой свои крупные красноватые руки с коротко стриженными ногтями. – А тебе, Нинок, замуж надо, – посерьезнела Лида. – Хватит на этого кобелюку время тратить. Замуж и рожать. Поезд-то от перрона почти отошел. Гляди, и совсем уедет.

– За кого замуж? – удивилась Нина. – Можно подумать, за мной очередь стоит.

– Ну тогда рожай! – продолжала настаивать Лида. – А то и это прозеваешь. Бабий век, он знаешь какой?

– Куда рожать, Лида? Ни денег, ни квартиры. Ты же мою ситуацию знаешь. А потом, любовь, Лида. Понимаешь?

– Бред! – резко бросила Лида. – Вот только этого не надо! Придумала себе сказочку про белого бычка и слезами умываешься. А надо все бросить к черту и оглядеться вокруг. Вон сколько мужиков бесхозных шляется! Только рукой махни.

– Ты меня сватать взялась? – рассмеялась Нина.

– А что, может, и сватать! Есть тут один на примете, Ваня Скориков.

Год назад с женой развелся. Детей нет. Тихий, спокойный, непьющий. Комната в центре. Хочешь, позову? Вместе посидим.

– Лида, извини, но это все напрасно, – твердо сказала Нина.

– Хозяин – барин, – пожала плечами та. – Не хочешь, как хочешь. Только, по-моему, зря.

Вечер был скомкан. Допив бутылку вина, Нина засобиравалась к себе.

«Ну что я злюсь на Лидку? – подумала она. – Человек ведь мне добра хочет». И еще подумала, что ей очень хочется спуститься к автомату и позвонить любимому. Но наверняка трубку возьмет жена, или она просто будет рядом, и он, как всегда, не сможет говорить. Разговор получится пустой, и она окончательно расстроится. Еще Нина подумала о том, что ей надоело страдать и хочется тихой радости и покоя – надоели бесконечное вранье и неопределенность.

На тумбочке стояла фотография любимого. Нина взяла ее в руки, почему-то долго и внимательно разглядывала, а потом вздохнула и перевернула лицом к стене.

Наутро тучи раздвинулись, и выглянуло неяркое солнце. Нина вошла в столовую и огляделась. Ваня Скориков пил чай и задумчиво смотрел в окно. Нина ему кивнула и почему-то очень смутилась. За столом у стены сидела Лида Власова и мрачно и сосредоточенно жевала.

– Что-то не так? – поинтересовалась Нина.

– Работа не идет, – кивнула Лида. – Ну совсем. Третий эскиз ломаю, а скоро комиссия. Выпрут меня отсюда к чертовой матери! Домой звонила – там все мои разболелись. Буду в Москву собираться. Что за жизнь хренова! То вдохновения, видите ли, нет, то дети мешают, то начальство давит, то квитанции неоплаченные, а то, прости господи, месячные – и опять никакого настроения. – Лида горестно вздохнула и с силой шмякнула чашкой об стол. – Чтобы работать, нужен рай в душе. А где его взять?

«Даже для ее молотобойцев нужен рай, – удивилась Нина. – А я-то думала, что у Лидки все просто и четко».

В мастерской она открыла муфельную печь и вынула уже готовый сервиз.

«Красота! – улыбнулась она. – Здорово получилось! Это, пожалуй, сразу улетит».

Теперь Нине захотелось сделать вазу – тонкую, высокую, с узким и неровным горлом. Серебристо-синюю, под сервиз.

Она взялась за дело и так увлеклась, что пропустила обед. После ужина надела куртку и резиновые сапоги и пошла в город.

На улице дул сильный, промозглый, пробирающий до костей



ноябрьский ветер. Хотелось поскорее вернуться домой. По дороге она зашла в библиотеку и взяла рассказы Токаревой. Это точно поднимет настроение.

Дома зазнобило, и сильно захотелось пить. Она потрогала лоб и поняла, что заболела. Из лекарств в сумке валялся один анальгин. Нина накинула халат и пошла в столовую, попросить чаю. Зойка стояла уже одетая и собиралась закрывать дверь.

– Чего еще? – недовольно спросила она.

– Чаю, если можно, – пролепетала Нина.

– Какой чай? – возмутилась Зойка. – Титан давно остыл.

Нина кивнула и поплелась в номер. Она все никак не могла согреться и натянула на себя две пары носков и теплый свитер.

Разбудил ее стук в дверь. На пороге стояла Зойка и держала в руках чайник и банку с вареньем.

– На вот, – смущенно сказала она. – Выпей горячего. Свежий заварила. Индийский. «Три слона». И варенье тут, клюква. Не малина, конечно, но тоже хорошо.

– Спасибо тебе! – пролепетала растерянная Нина и присела на кровати. Зойка налила в кружку горячий ароматный чай.

– Пойду я, – сказала она. – Дома сын ждет. Да и заражусь, не дай бог. А мне на больничный никак нельзя. Игнатьевна одна не справится.

– Спасибо тебе большое! – повторила Нина и заплакала.

– Да ладно, чего там, – смутилась Зойка. – Что мы, не люди, что ли?

«Господи, и вправду люди, – подумала Нина. – Вот как, оказывается, бывает». Она напилась чаю и понемногу согрелась.

Ночью Нину бил сильный озноб, а утром, как положено, заболело горло и полило из носа. «Только этой напасти сейчас не хватало!» – подумала Нина. Работ совсем мало, а скоро комиссия. Полетят клочки по закоулочкам. Строгой комиссии наплевать на твои хворобы и душевные переживания. Наверняка будет жалоба в секцию керамистов. Ну и черт с ними! Выше себя все равно не прыгнешь.

Почти весь день Нина проспала. В остывшем чае разводила клюкву – очень хотелось пить. А вечером опять пришла Зойка, принесла пюре с котлетой и аспирин. Села на стул и достала из сумки бутылку водки.

– Лучшее лечение, – уверенно сказала она.

Нина пить не хотела, но и обижать официантку тоже было ни к чему. Заботится ведь искренно, а совершенно чужой человек. Нина вообще забыла, чтобы кто-то о ней *так* заботился.

Выпили по первой, закусили котлетой. Выпили по второй, и пошел

обычный бабский треп – про жизнь, про мужиков. Рассказывали горячо, перебивая друг друга и перескакивая с одного на другое.

Зойка всплакнула и принялась жаловаться на мать и сына. Нина рассказала про мачеху и отца. Жалились друг другу на вечную нехватку денег, а хочется так много – новых сапог, пальто и сумочек... Зойка разливала водку и звонко чокалась. Закусывали остывшей картошкой.

Потом Зойка поведала Нине свою главную тайну. Про короткий, всего в два месяца, роман с московским художником. Про то, что любила его без памяти, а он так, время проводил. Она, конечно, все это понимала, но устоять не смогла.

– А здесь какие женихи? – говорила Зойка. – Пьянь одна. Ну, вышла бы я за Мишку или за Генку, всю жизнь бы маялась. Все тут пьют, понимаешь? Все до одного. А кто не пьет, за того бабы держатся будь здоров, ни за что не отпустят. А этот внимательный был, – глядя в окно, нараспев продолжала она. – Заботливый. Все спрашивал: «Хорошо ли тебе, Зоя, со мной?» А мне было так хорошо, – Зойка выпустила изо рта тонкую струйку дыма, – так хорошо, что после его отъезда жить не хотелось. Хоть в петлю лезь. Может быть, и влезла бы, только поняла, что залетела, – это и спасло. Думала, ребеночек от него родится умненький, он про своих детей все хвастал, а родился балбес, весь в меня, наверно.

– Ну, хоть родился, слава богу, – заметила Нина. – И мать тебе помогает. И дом свой. А я? Ни детей, ни квартиры.

– Так рожай! – сказала Зойка. – Вырастишь как-нибудь. И в войну рожали.

– Не справлюсь я, Зой. И помочь некому. Вот если бы мама была жива! – Нина горько расплакалась.

– А этот, ну, твой? Не поможет? Ведь ты говоришь, не бедный.

Нина усмехнулась.

– Да этот «не бедный» сбежит в этот же день, как только узнает. У него семья, дети. Жена прекрасная. На черта ему проблемы?

– Сволочь он, – уверенно припечатала Зойка.

Нина пожала плечами и согласилась:

– Наверное, да.

– А я думала, что все вы там, в Москве, счастливые. Не то что мы здесь, в забытом богом месте.

– Дурочка ты! – улыбнулась Нина. – Где ты видела этих счастливых? Вон Томка, gobеленщица, одна двоих детей тянет. И у Лиды Власовой забот не оберешься. А ты – «счастливые»!

Зойка тяжело вздохнула и подошла к Нининой тумбочке забрать

тарелку. На пол легко слетела фотография, накануне отправленная в немилость. Зойка нагнулась и подняла карточку с пола.

– Это кто? – спросила она каменным голосом.

– Он самый, – вздохнула Нина.

Зойка медленно опустилась на стул.

– Он самый, говоришь?

Нина кивнула. Зойка молча сидела и вертела фотографию в руках.

– Значит, он самый, – тихо повторила она. А потом тихо произнесла: – Точно, он самый. Что ни на есть собственной персоной. Постарел, конечно. Но взгляд тот же остался, такой же, кобелячий.

Нина удивленно смотрела на Зойку и ничего не понимала. Зойка подняла на нее глаза.

– Отец это Вовки моего. Понимаешь? Ну, тот самый, из Москвы, про которого я тебе говорила.

Нина закашлялась и села на кровати, испуганно глядя на Зойку.

– Так-то, подруга, – задумчиво произнесла Зойка.

Они молчали. Долго. Наверное, полчаса, а может, и больше. Потом вдруг Зойка рассмеялась. Да что там рассмеялась, просто начала хохотать. В голос. Потом засмеялась Нина. А потом они вместе дружно разревелись.

Зойка разлила остатки водки и с сожалением потрясла пустой бутылкой. Потом они сидели на Нининой кровати обнявшись и снова то плакали, утирая друг другу слезы, то начинали хохотать как ненормальные.

А потом Зойка затянула песню. Пела она чисто, низким и правильным голосом.

– Миленький ты мой, – тщательно выводила Зойка, – возьми меня с собой! Там, в краю далеком, буду тебе женой.

Следом, немного фальшиво, тонким голосом вступала Нина:

– Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, есть у меня жена!

Потом Зойка уложила Нину, взбила подушку и, как маленькую, укутала одеялом. Всклипывая, Нина отвернулась к стене и мгновенно уснула. Зойка собрала посуду и остатки ужина, на цыпочках, осторожно вышла из комнаты и плотно прикрыла дверь.

Наутро Нина проснулась поздно. Пошмыгала носом, потянулась и поняла, что почти здорова.

«Но сегодня еще поваляюсь. Имею право», – выписала она себе индульгенцию. Еще раз сладко потянулась, закрыла глаза и решила подремать.

Дверь бесцеремонно распахнулась, и на пороге появилась всклокоченная Зойка с подносом в руках. На подносе стояла тарелка с

глазуньей, сыр, хлеб и стакан чая, от которого шел уютный парок. Без «здрости» и «как дела» Зойка смущенно брякнула поднос на тумбочку и бросила:

– Дел много, тороплюсь.

Нина кивнула и тоже смущенно пролепетала:

– Спасибо!

У двери Зойка обернулась, пробормотала:

– Ой, чуть не забыла! – И вынула из кармана передника большой апельсин. – Это не от меня, – честно призналась она. – Это Ванька Скориков тебе передал. Где взял, не знаю. У нас их сроду тут не было.

– Возьми его Вовке, – сказала Нина.

– Ну уж нет! – улыбнулась Зойка. – Это тебе, ты у нас болезная. А потом, он со значением тебе передал. И еще привет и скорейшего выздоровления! – Зойка улыбнулась и подмигнула.

Нина поняла, что очень голодна, с удовольствием съела яичницу и корочкой до блеска подчистила тарелку. Потом лежала и почему-то смотрела на апельсин. Спать совсем расхотелось.

На улицу она вышла через два дня. Погода стояла тихая и безветренная. Небо было голубое и яркое, а на деревьях тонким слоем лежал первый снег.

Нина спустилась с пригорка и увидела, что на полустанке, готовый к отправлению, стоит паровозик «кукушка». Она заторопилась и, слава богу, успела.

В вагоне, на деревянной скамье, она увидела Ваню Скорикова, а он увидел ее и улыбнулся. Почему-то смущаясь, Нина подошла к нему и села рядом. Паровоз дал три сиплых гудка и, тяжело бряцая колесами, медленно сдвинулся с места.

– Ну вот, – улыбнувшись, сказала она. – Вот и маленькое путешествие.

Ваня кивнул:

– Маленькое. – И добавил: – Пока.

Нина покраснела и отвернулась к окну.

– Ой, да, спасибо за апельсин! – спохватилась она.

– Какая ерунда! – теперь покраснел и смутился он.

Они молчали, а паровозик, медленно, с трудом пытался набрать скорость и хоть для порядка разогнаться.

Впереди лежало Плещеево озеро и голубел на пригорке еловый лес. И может, еще много другого было впереди. Кто знает? Но двое, сидевшие рядом на жесткой скамье в маленьком тряском паровозике, почему-то одновременно подумали об этом.

## Странная женщина



## День Рождения

Она смотрела в окно своей спальни. Смотрела на всю эту шатию-братию, без дела мотающуюся по участку. Кто-то сидел в плетеном кресле, кто-то трепался, кто-то потягивал вино или пиво. И все, разумеется, ждали. Ждали, когда со второго этажа спустится именинница и их наконец пригласят за праздничный стол.

«Истомились», – подумала она и усмехнулась.

Потом тяжело вздохнула и в сотый раз подумала: «Какая я дура! Какая дура, что поддалась, согласилась. Прогнулась – как говорят нынче. Она! Железная леди, дамасская сталь. Непримируемая Снежная королева».

Прогнулась. Конечно же, только из-за любимой дочурки. Только она имела способность воздействовать на «железную» мать. Только ей та противостояла с трудом.

Что поделать – и у «стальной пружины» бывают слабости.

Да и аргументы, конечно. Пятьдесят, такая дата, юбилей, что говорить. Сороковник не справляли, была отмазка – сорок лет не отмечают, такая примета. А уж промежуточные – вообще смешно! Сорок пять тоже, слава тебе господи, проскочили – грех, конечно, так говорить, но – обстоятельства! Муж тогда загремел в больницу, ничего, слава богу, серьезного. Обошлось.

Он тогда пошутил: «Когда в моем возрасте удаляют только аденому простаты, а все остальное оставляют на месте, – уже огромное счастье!»

Он вообще умел пошутить, ее муж. На том, собственно, и держались.

Так вот, дочь настояла, да. Просто весь мозг вынесла – требовала фейерверков, анимаций и бурных оваций. Муж ее, разумеется, поддержал. Они с ним всегда были на одной волне.

Она даже слегка ревновала. Потом, когда она наконец согласилась, посыпался ворох предложений – одно нелепей другого. Например, поехать на экзотический остров в семейном составе. Или – в Париж. «Хочешь, мамуля, в Париж? День варенья же, мам!»

Нет. Вот туда она не хотела определенно. Париж был исхожен вдоль и поперек – ничего нового. Хотя Париж есть Париж, что говорить... А в Лондон? Как насчет туманного Альбиона?

Ну его к черту! Какой Альбион, были там раз пять, и все не везло с погодой. Дальше еще страшнее – полет на воздушном шаре, альпинистскими тропами на Памир, сплав по горной реке в каком-то

катамаране – короче, полный ужас.

Дочка была креативной затейницей. И вообще веселухой. Точно не в мать.

Из всего того кошмара, что она предложила, оставалось одно – обычный банкет на даче. Все, точка. Твой креатив, детка, не для меня. И перестань веселиться! Дурочка просто, ей-богу...

Ладно, все смирились, общий знаменатель был найден. Банкет на даче – легкие закуски, все, разумеется, будет заказано в ресторане, барбекю – приглашен кавказский умелец, проверенный друзьями. Два официанта – накрыть, подать и убрать. Не так дорого, кстати. И все совершенно свободны!

– Валяйте, – устало согласилась она, – вы ж все равно не отстанете!

Она слышала, как муж и дочь шушукаются по углам. Снова вздыхала – господи, напридумают ведь все равно какой-нибудь чуши, дурацких сюрпризов. Знает она своих родственников! Банкетом не успокоятся, нет. Что же – это надо просто пережить, и все. Как нервная невеста переживает свадебную подготовку и суету.

Ладно, переживем. Ведь, в конце концов, родные люди стараются. Только... как же она не любит всего этого. Просто до дрожи не любит, такие дела.

В дверь постучали. Муж. Дочь врывается вихрем, ничего с ней поделывать нельзя, как ни пыталась отвоевать право на личное пространство и частную, приватную, как говорят сейчас, жизнь. Хотя смешно – какая там у нее частная жизнь! Обхихикаться просто.

– Входи, – крикнула она мужу.

Он вошел. Как всегда – подтянутый, интересный, из тех, кому годы только на пользу. Седой ежик волос, смуглая кожа, тонкие очки. Ни грамма жирка – просто американский сенатор из одноименного фильма. Серые брюки, голубая рубашка, серая бабочка. Мечта, а не мужчина, что говорить.

– Владка, пора! – вздохнул он и посмотрел на часы. С укором, надо сказать. С едва заметным укором.

– Скоро начнутся голодные обмороки, – пошутил он, – да и вообще, неудобно.

Она кивнула, вздохнула, пройдя мимо зеркала, поправила прическу, «дала» задора во взгляде и кивнула:

– Ну двинули! Ух!

Раньше сядешь – раньше выйдешь, как говорится.

Встретили, разумеется, аплодисментами. И пошло-поехало. От комплиментов сразу начало подташнивать. А ведь будут еще и здравницы.

Тосты и пожелания. Стихи, не дай бог!

Гости, как на подбор, были умны, остроумны и велеречивы. Интеллигентная и небедная публика, куда деваться.

Домработница хлопотала с цветами – ваз, как всегда, не хватало, и заполошенная, несчастная Верочка ожесточенно рассовывала букеты в пластиковые ведра и трехлитровые банки. На отдельном столике, под сиренью, пестрели коробки с подарками, перехваченные атласными лентами, некоторые даже с привязанными игрушками. Чушь, ей-богу. Бабе полтинник, а там плюшевые зайчики и медведики. И кому это пришло в голову? Кто изменил традициям и вкусу? Ладно, бог с ними, с медведями.

Столы были накрыты. Она бросила взгляд – красиво. Не придерешься, красиво. Сиреневые скатерти, тарелки и бокалы в цвет, все декорировано букетиками фиалок, перехваченными белыми лентами. Еды навалом, довольно отметила она, а это главное. Она всегда боялась, что гости уйдут голодными. Это было семейное – так же кряхтела и беспокоилась мама, нервно оглядывая накрытый стол, и бросалась на кухню: «Надо еще отварить картошечки – на всякий случай». И это притом, что на столе стояло штук шесть салатов в хрустальных салатниках, рыба, селедка, соленья, домашние пирожки и прочее, прочее. А в духовке уже румянилась утка или баранья нога.

## Родителей не выбирают

Отец скандалил и называл мать «законченной дурой». Мать пропускала мимо ушей, никогда на него не обижалась, только махала рукой и принималась за чистку «картошечки».

Сумасшествие, конечно. Семейное сумасшествие. Такой же была и бабушка, мамина мать.

Гости, конечно же, обедались и еле выползали из-за стола. Еды оставалось море, и мать начинала всем собирать «кульки». Свертки пирожков, банки с салатами, остатки бараньей ноги или «гусочки». Мать была простая, деревенская. А отец был москвич – из генеральской семьи. Их брак был объявлен мезальянсом, но прожили они долго, до самой старости, вопреки предсказаниям генеральской родни.

В юности Влада удивлялась: они совсем не сочетались – отец и мать.

Мать была и вправду простовата. А потом поняла – отцу так было удобно. Мать хозяйничала, растила детей – ее, Владу, и брата. Никуда особенно не лезла – летом крутила компоты, варила варенья, солила и мариновала. Она всегда была при деле, ее тихая мать, – с утюгом в руках, с тряпкой, со шваброй.

А отец жил своей жизнью – работа, охота, рыбалка, банька с друзьями. Потом Влада, уже взрослой девицей, случайно узнала, что у отца всю жизнь параллельно была другая семья.

Точнее, другая женщина. Но к ней он не ушел. Вот странно даже, а почему? Там ведь явно была любовь. А что еще? Ну или страсть, как хотите. Женщину эту Влада увидела. Красавица. Умница и красавица. Без дураков. А жизнь он прожил с женой. Мать ушла первой, совсем не старой, в шестьдесят восемь. А с той женщиной он так и не сошелся – говорил, что привычки менять поздновато. Но жизнь странная штука. Странная, нелепая и жестокая – та дама ушла следом за матерью, через девять месяцев. Было ей, наверное, всего-то под шестьдесят.

И семидесятидвухлетний отец остался один. Влада тогда подумала – наказание. Ему наказание. А этим двум женщинам? Наверняка мать обо всем знала. Не могло быть иначе – отец ездил в отпуск с той дамой, брал ее с собой в командировки – попадались какие-то редкие фотографии из разных мест, правда, на них было много разных людей, но даму ту углядеть было нетрудно.

Значит, мать знала. Знала и молчала. Точнее – помалкивала. Чтоб не

гневить. Отец был горяч и гневлив. И очень суров.

А та? Всю жизнь ждала. Вся жизнь в ожидании. Придет – не придет. Возьмет – не возьмет. Останется на ночь или обратно в семью. А праздники? Новый год, октябрьские, майские?

В праздники он всегда оставался в семье – это святое.

Всю жизнь как транзитная пассажирка. А ведь могла устроить личную жизнь. Наверняка. Потому что красавица. И умница точно – главврач столичной больницы. Детей не родила, гнездо, которое наверняка упорно свивала, не пригодилось. И даже на старости лет ей не было отпущено покоя и счастья – похоронив жену, вдовец вещички не собрал и на порог не явился. А ведь наверняка ждала. Ждала и надеялась.

После ее смерти года через полтора папаша женился. Точнее, сошелся с женщиной. Тоня была соседкой по дому. Мать с ней когда-то дружила. Они были в чем-то похожи – Тоня была женщина простая, бесхитростная и хозяйственная.

Никто и не скрывал, что и папаша, и Тоня жизнь свою *устраивают*. Никто не осуждал – все понимали. А вот то, что с Тоней отец вдруг расцвел и ожил – удивились многие. И Влада в том числе. Жили они дружно – так дружно, как не жили с матерью.

Ворковали аки голубки. Вместе на рынок, вместе в магазин и в аптеку. Вместе у телевизора – за просмотром идиотских бразильских сериалов, которые отец всю жизнь презирал и насмехался над матерью. Теперь они вместе крутили запасы на зиму, и папаша завел блокнотик, где записывал все достижения: огурец соленый – десять банок, помидор маринованный – пятнадцать, патиссон острый – семь. Дунайский салат, лечо, ну и так далее.

Влада смотрела на все это и только дивилась. Кудесница-жизнь.

Набегался кобель и успокоился – наверное, так.

Отца, кстати, она никогда не любила. Да, грустно...



## Куда деваться – гуляем!

Расселись за пышные столы. Она оглядывала гостей. Знакомые, близкие и не очень. Точнее, приятели *не первого круга*. Сотрудники мужа, его родня, приятели дочери – этих немного, человек семь, не больше. А вот мужниной родни навалом. Семья у него была огромная, разветвленная и довольно дружная – сестры, братья, племянники с семьями. Тетушки с дядюшками, ох.

А у нее один младший брат. И тот из рук вон. Володя всегда был человеком слабым и неудачливым. Два нелепых брака, двое детей, с которыми бывшие жены ему не давали встречаться. Дурацкие любовницы – обязательно со шлейфом скандалов и дрызг. С работой тоже сплошная неразбериха – отовсюду его увольняли, везде «подставляли» или вдруг неожиданно закрывалась обанкротившаяся фирма, не выплатив пару месячных зарплат.

Словом, типичный лузер.

Она, конечно, всегда старалась помочь. Но брат раздражал ее чрезвычайно. Он так легко смирялся со всем, не пытаясь бороться и даже сопротивляться, что очень напоминал ей наседку-мать. Она-то сама пошла в папочку.

Брат еще не явился. Пунктуальности в нем тоже не было ни на грош.

Дочь тревожно спрашивала ее взглядом – ну как? Нравится? Все ли в порядке?

Она ей улыбнулась – да, все хорошо, милая. Замечательно просто. Расслабься и получай удовольствие.

А я... да тоже переживу. Не такое переживали. Все ведь проходит, правда?

Нет. Проходит *не все*. Совсем не все, моя милая.

Увы, моя детка. Увы!

## **Вся жизнь впереди, надейся и жди!**

Восемнадцать. Что может быть лучше, чем восемнадцать? Когда ты красива как роза и как роза свежа. И когда впереди целая жизнь. Долгая, длинная. Бесконечная. И очень счастливая.

Ты так ждешь ее, так жаждешь, так торопишь года! Тебе хочется прыгать от шальной радости, захлебываться от восторга. А неудобно. Тебе ведь уже восемнадцать!

А рядом с тобой – совсем рядом, ближе, чем протянутая рука, ближе, чем стук твоего сердца, чем твое свежее юное дыхание, он – твой любимый!

То, что самый лучший на свете, нечего и обсуждать. Нелепо просто говорить об этом! Неловко.

Он рядом, и все прекрасно – и дождь, и холодный ветер.

Прекрасные, кстати, стихи. Только ни дождя, ни холодного ветра – июль.

Жарковато, но кого в восемнадцать это пугает?

Они сидят на скамеечке в Парке Горького. Впереди серая река, мутноватая вода чуть колышется – совсем чуть-чуть, почти и не видно. Пахнет шашлыками и прибитой неспешным дворником пылью из шланга.

Они сидят молча, обнявшись. Она доедает мороженое. Любимое – «Ленинградское». Он «не потребляет». Он вообще не ест сладкого. Говорит, что ему невкусно.

– У тебя странный вкус, – удивляется она, – горько-кислый. Ужасный!

Он кивает и соглашается:

– Ужасный, чистая правда. Ну, раз я выбрал тебя.

– Я про неспелый крыжовник и кофе без сахара, – говорит она.

И они заливаются смехом. Таким звонким счастливым смехом, как смеются только в юности. На них обращают внимание.

А им наплевать. Абсолютно, категорически. Им наплевать на все и на всех.

Кроме друг друга.

Друг к другу они нежны. Даже прислушиваются к дыханию друг друга. Им это важно. Они ловят взгляд друг друга. Это тоже так важно, что прямо...

Нет ничего на свете важнее. Нет вообще ничего важнее, чем *они*. И еще – их любовь.

Вот это самая важная штука. Самая важная вещь. И ничего, кстати, смешного!

Влюбленные – они ведь такие. Могут обидеться.

Только с ним она примирилась со своим именем. Он сразу назвал ее Влада. А на самом-то деле она была Владлена. Папуля изощрился, чтоб его. Мать рассказывала, что хотела назвать ее Дашей. В честь бабушки. А тут подключился папуля, и, разумеется, мамино предложение было тут же снято – с мужем она не спорила. Ни по каким вопросам. Отец называл ее всегда полным именем – Владлена. Лет в десять она узнала, что это означает «Владимир Ленин». Кошмар. После этого свое имя она стала ненавидеть сильнее. А он, ее любимый, вдруг сразу назвал ее Владой. Сказав, что она им владеет – навеки и безвозвратно. Влада, владелица. *Владелица* его души и сердца. И она примирилась тут же, а со временем даже смогла полюбить свое имя.

Став взрослой, она даже в связке с отчеством представлялась Владой – Влада Витальевна. А что, неплохо.

Познакомились они банально – на улице. Точнее, у выхода из метро. Ехали вместе от «Проспекта Маркса» до «Проспекта Вернадского». Она видела, что худой, синеглазый и симпатичный парень, сидящий напротив, внимательно ее изучает. Оторвалась от книжки и бросила на него довольно суровый взгляд. Он смутился, улыбнулся и слегка развел руками – не обессудьте, мол! Не в моих силах оторвать от вас взгляд!

Словно извинился.

А она нахмурилась и снова уткнулась в книжку. Всю жизнь она помнила этот день и помнила то, что читала – рассказы О’Генри.

Выйдя на улицу, она почувствовала, что он идет следом. Резко обернулась:

– Что вам от меня надо?

Он тяжело вздохнул и сказал:

– Все! С сегодняшнего дня и до конца жизни. Вас это пугает?

Она тоже вздохнула:

– Нет, не пугает. Это должно пугать вас и ваших родителей.

– Почему? – удивился он.

– А потому, что это – диагноз! – отрезала она. – Или несусветная наглость. Хотя вам кажется, что все это страшно остроумно, правда?

Он покачал головой:

– Ничего остроумного я здесь не вижу. И вообще, я человек серьезный. Честно. И это не мой способ знакомства.

Она досадливо махнула рукой и пошла к дому.

Он пару раз пытался завязать разговор, она что-то коротко отвечала, так дошли до ее подъезда, она повернулась к нему и сказала:

– Ну, вот. Все. Очень надеюсь, что здесь мы расстанемся. И расстанемся навек.

Он посмотрел на нее внимательно.

– А жаль, что вы не верите. Жаль, что до вас еще не дошло.

Она в изумлении приподняла брови.

– Жаль, – повторил он и улыбнулся. – Все равно. Ты. От меня. Никуда не денешься!

Она покрутила пальцем у виска.

– Ну, если вы маньяк, то, наверное, да. Только... у меня очень строгий папа. И есть еще брат.

– Разберемся, – отмахнулся он и пошел обратно к метро.

А назавтра с раннего утра он уже сидел на лавочке у ее подъезда. С огромным букетом ромашек.

Ее, кстати, любимых цветов. И как он только узнал?

Осаду она держала недолго – было лето, каникулы, почти все разъехались, а она продолжала торчать в Москве. Мать с братом сидели на даче, отец ночевал у своей зазнобы, а она, ссылаясь на неотложные дела, с удовольствием оставалась в квартире одна.

Через пару дней они гуляли по городу, ходили в кино, сидели в кафе-мороженом, ели пломбир и пили отвратительный жидкий кофе – хороший кофе тогда подавать было как-то не принято.

Ей было с ним интересно. Так интересно, как не было никогда и ни с кем. Говорили они обо всем и часами – о книгах, кино, родных. Делились воспоминаниями о детстве, не боялись открыть друг другу даже детские страхи.

Все лето они не разнимали рук. Все лето они целовались в укромных уголках. Все лето они любили друг друга и не мыслили прожить и дня в разлуке.

Однажды он остался у нее на ночь. И после этого стало только еще жарче, еще крепче, еще сильнее – все то, что происходило с ними тогда, тем самым далеким жарким летом.

А было оно, то лето? Да, было.

## У всех свои горести...

Саша жил вдвоем с матерью. Отец оставил их давно – сто лет назад, как он сказал.

Втайне от матери Саша мечтал отыскать отца – просто посмотреть на него, так он сказал. Ничего не надо, просто посмотреть в глаза, и все.

В справочной им выдали четыре адреса людей, один из которых мог быть его отцом, они поехали по адресам. Он тогда признался ей, что один бы ни за что не решился.

Им повезло – его отец жил по второму адресу. Они позвонили в массивную, обитую глянцевой, в пупырышках, кожей дверь, и на пороге появилась красивая женщина с ярко накрашенным ртом, в широком, в цветах, сарафане и уставилась на них.

– Кого? Да, проживает именно здесь. А вы по какому вопросу, собственно?

Он растерялся, а Влада, взяв себя в руки, попыталась объяснить женщине в сарафане цель их визита.

Та нахмурилась, взгляд ее потемнел и не обещал ничего хорошего. В дом она их не пригласила, коротко бросив:

– А я тут при чем? Это его дела и его прошлое. Я и мой сын тут ни при чем. Хотите – ждите его во дворе. А меня это никак не касается.

Они совсем растерялись и стали быстро спускаться по лестнице.

А она крикнула им вдогонку:

– А вообще – зачем вы приходили? Денег просить, что ли?

Они не ответили и быстро сбежали по лестнице.

На улице, отдышавшись и сев на скамейку, он, очень смущенный, пытался шутить:

– И вот *на этом* он женился? Из-за этой вот бросил меня и ушел от моей матери? Слушай, я, похоже, совсем ничего не понимаю про эту самую жизнь!

Она утешала его, гладила по руке и умоляла уйти. А он отказался.

– Теперь нет! Теперь я еще больше хочу на него посмотреть. В глаза, понимаешь?

Она поняла – бесполезно. Спорить с ним бесполезно. И надо закрыть эту тему, вскрыв этот нарыв. Чтобы потом он не думал. Чтоб не терзался. Чтобы навеки отрезать, и все.

И они дождались. Подъехала «Волга», и из машины неспешно вылез

высокий грузный мужчина. Тщательно проверил, закрыты ли у авто двери, и медленно пошел к подъезду.

Они встали с лавочки, и он решительно пошел навстречу к отцу.

Окликнул его по имени-отчеству. Тот обернулся и стал с удивлением рассматривать высокого и незнакомого парня.

Они поговорили о чем-то совсем коротко, не больше трех минут, а Влада стояла поодаль, не решаясь подойти, боясь помешать.

И увидела, как мужчина махнул рукой, недоуменно пожал плечами и, покачав головой, пошел к подъезду.

А ее любимый стоял как вкопанный, и на лице его застыла гримаса отчаяния и боли.

Она взяла его за руку, и они медленно пошли к метро. Спустя полчаса она решила спросить:

– Ну, что? Что он сказал?

Он поморщился, словно от зубной боли.

– Он? Он сказал, что бывают ошибки. Я – это ошибка, понимаешь? Как все просто – он ошибся, и я – это ошибка!

Она прижалась к его плечу.

– Да и черт с ним. Подумаешь! Знаешь, у меня дома... тоже... не лучше. Тиран-папаша и абсолютно подавленная им мать. Всю жизнь – ни слова против, ни одного возражения! Виталий сказал, Виталий потребовал, Виталий так любит. Все! Все, понимаешь? Он сделал из нее какую-то тряпичную куклу. Безмолвную марионетку. И смотреть на все это... почти невозможно. Человек с парализованной волей. Это вообще – человек? Вот я хочу любить ее. А не могу. Могу только жалеть. А его... его – ненавижу! А ведь самое страшное, что я на него похожа. Ты представляешь, похожа!

– Да чем ты похожа? – махнул рукой он. – Глазами и овалом лица?

– Многим, – отрезала она, – я-то знаю!

– Слушай, – примирительно сказал он, – а давай не будем про них? У них своя жизнь, а у нас своя. И мы будем счастливы, слышишь? Назло всем врагам!

– Да какие враги, – устало отмахнулась она, – просто несчастные люди.

Потом ей не раз приходилось слышать, что женщина, выросшая в несчастливой семье и воспитанная несчастной матерью, счастливой быть не может. По определению, как сейчас говорят.

Выяснилось, что да. Подтвердилось. Жизнью и жизненным опытом. И

она все думала про свою дочь: ей что, тоже такая судьба? Дочь повторяет судьбу матери. Несчастливая мать – несчастливая дочь. Обязательно так? И этот порочный круг не разорвать никогда? Ах, она бы на все согласилась – на любую сделку с совестью или с дьяволом – только бы ее Наташка была счастливой. За всех – за нее, за ее мать, за ее бабушку Дашу.

А дочке было уже к тридцати. Ну нет, неправильно. Двадцать пять – это никак не к тридцати, что за глупость! Кавалеров у дочки было как-то не густо. Может, и хорошо? Только странно – дочка хорошенькая, длинноногая, остроумная и веселая. Почему же?

Лето закончилось, и они понимали, что встречаться так часто им уже не придется. Во-первых, учеба, во-вторых, мать возвращается с дачи, и все – свободной квартиры у них больше нет.

И все равно они встречались ежедневно. Пусть на полчаса, пусть в перерывах между лекциями, пусть коротенько у метро: «Я только поцелую тебя, и все! Чмокну в нос, и до завтра мне хватит!»

Иногда появлялась какая-нибудь случайная комната или квартира, они летели туда, забыв обо всем, – пусть пару часов! И наплевать, что на чужих простынях и подушках! На все наплевать. Потому... Потому что она будет чувствовать его запах, будет лежать у него на груди, будет целовать его смуглое и гладкое плечо и чуть покусывать его темный и твердый сосок.

А он – он будет говорить ей такие слова... Что всю следующую ночь она просто не сможет спать, вспоминая эти бесстыдные, «ужасные» слова, и ей будет так душно и так сладко... Ну, все понятно. Что тут объяснять?

К зиме они поняли, что даже на день расстаться нет сил.

– Надо жениться! – твердо сказал он. – Так больше продолжаться не может!

Это была фраза из какого-то фильма, и они дружно расхохотались.

Решили так – сказать обо всем родителям, перезнакомиться и выбрать день свадьбы. А еще лучше – без всяких свадеб, без всей этой суеты, колготни и маразма. Взять билет и уехать вдвоем. Куда? Да, например, в Питер. Или в Прибалтику, в Ригу. Или в Вильнюс – какая разница?

Вдвоем – на поезде, под запах угля, под дребезжащий звук чайных стаканов. Под мерный стук колес и сердец. Здорово, да? Да нет, не просто здорово – сказочно здорово и нечеловечески прекрасно. Вот так. Где там жить? Это, конечно, вопрос. Вопрос советских времен – неразрешимый почти, глобальной какой-то сложности.

Но она сказала, что наверняка поможет отец – у него везде связи. Ну,

закажет какую-нибудь гостиничку для командированных, из дешевых.

Он сказал, что уже сообщил матери про их планы. Мать, конечно, разохалась – рано, господи, ты же совсем ребенок! Поплакала даже. Но потом успокоилась и даже обрадовалась – все лучше, чем ждать тебя по ночам!

Теперь пусть волнуется законная жена. Передаю из рук в руки. Надеюсь, в надежные, ох... Хотя какие там надежные. Девочке-то восемнадцать лет!

Он засмеялся:

– Ты не знаешь ее. Там серьезности – на троих. Маленькая такая старушечка с очень серьезным взглядом на жизнь!

Теперь засмеялась мать.

– Ой, ну ты скажешь! Серьезности много! А если это действительно так, – тут мать запнулась, – то я ее уже боюсь, Сашка!

Мать была человеком легким и даже беспечным. Легкомысленным. Например, с полочки могла «покупечествовать». Что это значило? Да закупить всяких дорогих вкусностей в кулинарии – пирожных, салатов, запеченного мяса. Могла шикануть и по-другому – купить две пары дорогуших гэдээровских колготок или французские духи – за немислимые двадцать пять рублей. Или «урвать по случаю» – а тогда все было по случаю – в комиссионке шикарную итальянскую юбку из твида. Или пару импортных туфель – чуть сношенных, но все равно замечательных.

Он удивлялся:

– Мам! А как мы доживем до аванса?

– Как-нибудь, – отмахивалась мать, – и вообще, не порть мне радость. И счастья не отнимай!

Доживали, правда. Не было денег – пекли блины и жарили картошку. На это всегда хватало. Он думал – а мать-то права. Умеет человек устраивать себе праздник, и правильно! А лишний кусок колбасы – это мы точно переживем.

И уже в десятом классе не чурался работы – перебирал овощи на базе, разгружал вагоны на Курском, потом устроился туда же носильщиком – и это были очень приличные деньги.

Он очень любил мать и очень жалел. Ему казалось, что она так и осталась маленькой девочкой, не понимающей жизни. А это, наверное, ее и спасало. Про короткий роман с его отцом она особенно не распространялась. Он понял одно – ее, мать, отец очень любил. Но жениться не стал – предпочел девицу из номенклатурной семьи. И карьеру свою не провалил. А вот был ли он счастлив – да кто там знает. Да и какая



им с матерью разница?

Владу он привел к матери в пятницу, а в субботу решили, что пойдут в дом ее родителей.

– У меня будет пострашнее, – честно сказала она.

С его матерью она тут же нашла общий язык – болтали весь вечер без остановки. Солировала, конечно, болтушка-мать, но и его сдержанная, казалось, любимая тоже не отставала.

На прощание они обнялись, и мать сказала, что она ей *очень рада*.

Он был совершенно счастлив, глядя на двух своих самых любимых женщин.

Он проводил Владу до дома, и было решено, что они созвонятся – насчет завтрашнего «приема». Было видно, что она здорово нервничает, он ее утешал и обещал, что все будет тип-топ. Ну а если ее родители будут против – это ведь ничего не меняет, правда? Они все равно будут вместе. И нет такой силы, которая сможет их разлучить. Просто нету, и все!

Наивный. Он не знал тогда, что есть эта страшная сила. Есть! И она уже совсем рядом. Близко. Почти за углом. Точит свой острый нож, чтобы вонзить его в сердце. Сначала – в его, а следом – в ее, Владино.

## Чужие люди

В субботу утром, за завтраком, она торжественно объявила, что собирается замуж.

Мать притихла, окаменела и только смотрела на отца – сама новость не так взволновала ее, как волновала, впрочем, как всегда, реакция мужа.

Отец со стуком поставил чашку на стол и тяжелым взглядом уставился на дочь.

– Замуж, значит, собралась, – тихо сказал он, – выросла, значит. Созрела.

Влада кивнула.

– А что женишок? Тоже из сопливых?

Влада пожала плечом:

– А какая разница, сколько ему лет? Главное ведь не это.

– А что главное, дочка? – осторожно спросил отец. – Наверное, чувства? Любовь, так сказать?

Влада кивнула:

– Да. Чувства.

– Ага, – удовлетворенно проговорил он, – ну, а все остальное?

Она пожала плечами:

– А что ты имеешь в виду?

– Я? – грозно спросил отец. – Я, милая, имею в виду, собственно, все! Где вы будете жить, например. Что будете есть. Во что одеваться. На что, кстати, будете свадьбу гулять. Достаточно?

– Все решено, – отрезала она, – никакой свадьбы не будет. Лично нам эта гулянка совсем не нужна. Жить будем у Саши – мы так решили. И его мама не против. А насчет денег ты, папуля, и не волнуйся – Саша работает, да и я устроюсь куда-нибудь. Не пропадем.

– Ага, – опять удовлетворенно протянул отец, – значит, не пропадете? И свадьбы не надо, и курорта не надо? И вообще ничего не надо – у вас же все есть, я так понимаю?

Она подняла на него глаза.

– Возможно, у нас многого нет. Ты прав. Но у нас есть главное, понимаешь? А все остальное – приложится. Наживется. Да и не надо нам многого. Теперь все понятно?

– Понятно, – спокойно ответил отец. – Мне-то понятно. А вот тебе!

Она махнула рукой.

– Моя жизнь, и я сама буду ей распоряжаться!

Встала, чтоб выйти из кухни. У двери обернулась.

– Да, кстати, мам. Подумай про завтрашний ужин.

Мать посмотрела на отца. Тот усмехнулся.

– Ну, раз ты такая у нас... самостоятельная, тогда ты и думай.

Правильно, мать?

И та покорно кивнула.

«Чужие люди», – подумала Влада.

Совсем чужие! Не беда, не горе – просто очередная порция боли.

Переживем.

Перед самой смертью мать попросила у нее прощения.

– За что? – спросила дочь.

– А за все, – ответила мать, – за все, Владка, за все. И за тот ужин, в частности.

Впервые она задала матери вопрос, который мучил ее всю жизнь:

– Мам, а почему ты терпела?

Она ждала, что мать скажет: любила!

И это бы все оправдало. Ну, или хотя бы – частично. Но мать ответила по-другому: боялась, что он уйдет. Уйдет и оставит меня с детьми. И как я вас вытяну? Обоих? Без специальности? Чтоб вы голодали и нуждались – да никогда. Лучше уж я буду терпеть!

Она посмотрела на мать с такой жалостью, что та заплакала. Вернее, заплакали обе.

Потом, после ее смерти, она, конечно же, ее простила. Вспоминала ее жизнь и только жалела – злости совсем не осталось, ни капли. Голодное детство, война. Парусиновые туфли на бумажной подошве, подмалеванные зубным порошком. При дожде подошва размокала и отваливалась, а ноги окрашивались белым... Она боялась! Боялась всего – голода, одиночества, отца. А страх – это самая сильная мотивация. Вот и ответ.

## А нам все равно!

Утром в субботу Влада торчала на кухне. Меню ее было простым – жареная курица с картошкой и свежий салат. Вряд ли вообще у кого-то из приглашенных прорежется аппетит при виде ее папашки с перекошенной физией и пришибленной мамыши с головой, втянутой, как водится, в плечи.

Ровно в семь раздался звонок. На пороге стоял Саша и его слегка перепуганная и взволнованная матушка. У любимого в руках были торт и цветы.

Отец сидел в кресле и почитывал газету. К ужину он так и не переоделся – треники и старая байковая рубаша. Мать сидела на стуле и испуганно, исподтишка, поглядывала на «хозяина».

Хозяин не поднимал головы.

Гости вошли в гостиную и замерли на пороге.

– Мама, отец! – запинаясь, объявила непокорная дочь. – К нам гости! Вы не заметили?

Отец поднял голову, сдвинул брови и медленно, нехотя, стал выбираться из кресла. Мать тоже встала и ждала, что будет дальше.

Отец подошел к растерянным гостям и, внимательно их разглядывая, медленно проговорил:

– Ну что ж... коли так – проходите.

Сели за стол.

Молчание было ужасным, невыносимым.

Потом отец крикнул и достал из горки бутылку. Разлил по рюмкам коньяк, положил в тарелку салат и грозно сказал:

– Ну, деваться-то некуда. Что, мать, – он сдвинул брови, и мать вздрогнула, – дочь пропиваем?

Она видела, как застыла будущая свекровь, испуганно взглянула на сына и нерешительно опрокинула полрюмки, зацепив вилкой кусок огурца.

Саша улыбнулся и протянул рюмку будущему тестю:

– Чокнемся?

Отец прищурил рыжий рысий глаз.

– Думаешь? – спросил он.

Саша безмятежно кивнул.

– Ну, попробуем, – согласился отец.

Отец чокнулся зло, громко. Но Саша опять улыбнулся. Ей, Владе, – ничего, детка. Прорвемся. Их ведь в конце концов тоже можно понять!

А разговор не клеился. Хотя отец вдруг сказал матери:

– Оль! Ты чего зажала грибы и огурцы? Доставай!

Мать тут же вскочила, закивала и бросилась на кухню.

Молчание тяготило, а отец словно наслаждался этим. Потом и ему надоело, и он обратился к Сашиной матери:

– Ну что, сватьюшка? Берешь к себе на постой?

Сашина мать растерянно улыбнулась.

– Беру. Куда денешься!

– А зря! – вдруг крикнул отец, откидываясь на стуле. – Зря, матушка. Ошибаешься!

Все замерли, ожидая чего-то ужасного.

– Зря, – повторил он, – раз уж решили – пусть сами! Сами, как мы. По баракам, подвалам. Да где они, эти подвалы? – с сожалением, словно расстроившись, вздохнул он. – Ну, тогда – в коммуналку. Снимут пусть угол и там, – он осклабился, – пусть наслаждаются!

Сашина мать удивленно спросила:

– Зачем же? Зачем эти муки? А разве вам не будет приятно, если у наших детей будет легче, не так, как у нас?

Он усмехнулся.

– Приятно? – повторил он, качая головой. – Приятно? А почему должно быть приятно? А? Приятно, надо ж – приятно! Должно быть непросто. Вот так! Тогда, может быть, – он запнулся, вспомнив что-то свое, – тогда, может быть, и из них что-то получится.

– Пап, – не выдержала Влада, – ну, может быть, хватит? Хватит, а? Да и потом, – она усмехнулась, – ты, генеральский сынок, много ли жил в коммуналках? И вообще – ведь все равно ничего не изменится! Мы любим друг друга и все равно будем вместе. Давай как-то... по-человечески, что ли?

Отец, уже хорошо принявший, посмотрел на нее тяжелым, недобрым и осоловевшим взглядом.

– По-человечески? – повторил он. – А вы с нами? По-человечески? Решили втихушку. И свадьбы им не надо, и путешествия свадебного. Умные какие! Всем, значит, нужно, а им – нет! Им, гордецам, ни к чему! А знаешь, дочка, почему ты туда стремишься? Туда, в замуж? А?

– Почему? – одними губами спросила Влада, понимая, что скандала не избежать. Она слишком хорошо знала родителя. – Ну, и почему же?

– Да потому! – Отец встал со стула и хлопнул ладонью по столешнице так, что жалобно звякнули рюмки. – А потому, что спать тебе с ним очень нравится! Вот почему! Думаешь, так будет всегда? И ты тоже так

думаешь? – повторил он, уставившись на будущего зятя.

Саша дрогнул и кашлянул.

– Вы, Виталий Васильевич, как-то все... не так понимаете. Я люблю вашу дочь. И помешать нам не сможет никто, – твердо добавил он.

– Ну и люби себе! – неожиданно миролюбиво ответил отец. – Лезь в ярмо, раз мозгов нет. В девятнадцать-то лет! – И рассмеялся. – А ты дурак, парень. Какой ты дурак! На что семью содержать будешь? Твоя-то не привыкла на пустой картошке сидеть. Сапожки любит, туфельки. Платица разные. А ну как заненавидит тебя через год, когда совсем скучно станет? Эх, сопличье вы зеленое. Совсем отбились от рук. Свободы у вас слишком много. Хочу – женюсь, захочу – разведусь. Женилка выросла, да?

Саша покраснел, и Влада поняла, что он сейчас ответит. Ответит ее отцу, и все тут же рухнет, рассыплется, сломается мигом.

– Пап, – глупо хихикнула она, – ты ж не на партсобрании. И не в горячем цеху. Слезь с трибуны и давай просто поговорим. Как люди, слышишь! И хватит всех пугать, папа. Не страшно, честно!

Она выпалила все это одним духом и тут же испугалась – с папашей такие штучки не очень-то проходили. Услышала, как тихо охнула мать.

– И ты дура! – с удовольствием добавил отец. – Еще дурее его. Куда ты лезешь? К свекрови под бок?

Саша резко встал и коротко бросил:

– Хватит! Мам, и ты, Влада. Давай собирайся. Поедем домой. Достаточно унижений и хамства. Наелись, спасибо! А вы, не очень уважаемый будущий тесть, и отца народов, наверное, почитаете? Вот при нем был порядок, а?

Он пошел к двери, и его мать поспешила за ним. Влада стояла как вкопанная.

– Ну? – ухмыльнулся отец. – Что застыла? Беги, догоняй! Обживайся. Может, не выгонят. А Сталин, сопляк, лично мне ничего плохого не сделал. Усек? – выкрикнул он в коридор.

Она вздрогнула, словно очнулась, и бросилась в коридор.

Громко хлопнула входная дверь. Отец чертыхнулся, а мать громко охнула и села на стул.

Он посмотрел на жену и спросил:

– Что, недовольна?

Она не ответила и громко заплакала. Кого она жалела сильнее, ее слабая мать? Себя или свою непутевую дочь? А она и сама не понимала. Просто было очень горько и страшно. И все. Даже ей, такой привычной ко

всем этим семейным кошмарам.

Домой они ехали молча. Только Татьяна Ивановна, Сашина мать, периодически гладила ее по руке.

– Устаканится все, детка! И не такое в жизни бывает. Ты мне поверь, я через такое прошла...

Влада молчала. Молчал и ее нареченный. Молчал и не смотрел на нее.

В эту ночь они даже не обнимались – Саша отвернулся к стене, вежливо пожелав ей спокойного сна.

Какой там сон, господи! Всю ночь она пролежала с открытыми глазами, думая о своей нелепой семье, ненавидя отца и трусиху мать и стыдясь перед женихом и свекровью.

Она знала, что отец Татьяны Ивановны и его родной брат прошли через сталинскую мясорубку. Один в лагерях и остался. А второй в пятьдесят пятом вернулся – сломленным инвалидом. И прожил совсем недолго, года два или три.

И бабушка Сашина в ожидании мужа перенесла два инфаркта и скончалась до его возвращения.

Наутро всем было неловко смотреть друг на друга. Но она нашла в себе силы и после завтрака тихо, но твердо сказала:

– Вы их... простите, пожалуйста! А я тут совсем ни при чем. Дети за отца, как известно... Что я могла поделать, слыша все это? Только страдать и краснеть.

Саша посмотрел на Владу, потом подошел к ней и обнял. Она выдохнула, поняв, что все образуется.

Вечером он принес два букета огромных садовых ромашек – ей и маме, – сказал, что купил у метро, у бабули. Потом сели ужинать, и неловкость постепенно исчезала, словно ее и не было.

А дня через три, выйдя из дверей института, она увидела мать. Та стояла, как всегда, в стороне и вглядывалась в толпу выходящих студентов.

– Владлена! – крикнула мать и быстро пошла ей навстречу.

– Зачем ты пришла? – сухо спросила Влада. – Я, знаешь ли, не соскучилась. Ты уж прости.

Мать разрыдалась.

– Отец в больнице! Ему совсем плохо, тяжелый инфаркт.

Влада молчала, опустив глаза. На мать ей смотреть не хотелось.

– И что вам от меня надо? – спросила она, подняв глаза.

– Доченька! – взмолилась мать. – Он... очень просит тебя приехать. Очень, слышишь? Может быть, он, – она помолчала, – попросит прощения?

– Ладно, подумаю, – ответила Влада, – до завтра подумаю!  
Она развернулась и пошла догонять одноклассников.

Вечером она сказала любимому, что приходила мать. Тот молча выслушал и спросил:

– И что ты решила? Поедешь?

– А что бы сделал ты? На моем несчастном месте? Ты б не поехал?

– Я – нет! – резко отрезал он. – Никогда!

– А я – да! – так же резко ответила она. – А ты не подумал, если... ну, он умрет. Как мне потом с этим жить?

– Об этом и речь! – воскликнул он. – Ты ведь в нем совсем не нуждаешься. И в извинениях его тоже. Ты... хочешь облегчить свою участь. Совесть свою! Ну, чтобы потом без раскаяния и чувства вины. А это знаешь, как называется? Может, поспоришь со мной? Я не прав?

– Мне наплевать, что ты думаешь по этому поводу. И наплевать, как это все называется. Это мой отец, и он умирает! А тебе... Тебе, прости, незнакомо это чувство, и все. Вот поэтому ты меня осуждаешь и выговариваешь! Или я не права?

Он не ответил. Просто встал и вышел из комнаты. А она осталась. Сидела на чужой кушетке, в чужой квартире, понимая, что из комнаты сегодня не выйдет. И больше всего на свете ей захотелось домой.

Вот чудеса... Дура какая, господи!

Она вышла из комнаты, тихо прошла мимо кухни, где работал телевизор и была, слава богу, прикрыта дверь, и открыла входную дверь. На секунду задумалась, застряла, но, вздохнув, все-таки вышла на лестничную клетку.

В конце концов, она, и только она, здесь принимает решение. Это ее семья! Какая бы она ни была. Ее отец и ее мать. И никто – никто, кроме нее самой, просто не имеет права решать, как ей быть. И еще – осуждать. Ее семью. И даже не самых лучших родителей.



## Семья... какая ни есть

Мать, увидев ее, закудаhtала, захлопала крыльями и начала подробно рассказывать про отца. Дочь ее перебила:

– Мне это, прости, не так интересно. А завтра – завтра я поеду к нему. Все. Я ушла. Спокойной тебе, мама, ночи.

Мать ойкнула и мелко закивала головой, бормоча что-то, но Влада уже не слышала.

Утром она взяла с собой банки и термос, собранные матерью, и поехала в больницу.

Отец лежал в отдельной палате – большой, светлой, «царской». На тумбочке лежала прозрачная желтая кисть винограда и стояла бутылка боржоми. Отец дремал. В комнату било солнце, в открытую форточку дул свежий ветерок, колыша белую накрахмаленную занавеску.

Она смотрела на бледное, словно подсохшее, лицо отца и думала: «Почему ты такой, отец? Зачем? Я бы так хотела любить тебя. Любить и гордиться».

Он вздрогнул и открыл глаза. Посмотрел на нее внимательно и усмехнулся:

– Пришла?

Она не ответила – только кивнула.

– Правильно, – сказал он, продолжая усмехаться, – женихов-то еще куча будет, а батка один!

– Я думала, – тихо сказала она, – что ты... извинишься.

– Зря, – крикнул он и привстал с подушки, – не за что мне извиняться. А твой соплежуй – дурак! Мог бы... ради тебя... не ответить. Я его, дурака, проверял!

– Зачем ты так? – с мукой в голосе спросила Влада. – Тебе что, нравится меня унижать?

– Если для дела – конечно! Чтобы ты поняла. Ненадежный он, хилый. Не мужик еще, так, суета. Может, вырастет еще, а может, и нет. А пока – пусть сопли утрет, женишок! Не такой тебе нужен. Силы в нем нет, одна прыть. А на ней далеко не уедешь.

– Не тебе судить, – отрезала она, – и решать не тебе!

Она подошла к окну и встала к отцу спиной. Видеть его было мучительно.

В этот момент дверь в палату раскрылась, и она услышала женский

голос:

– Виталечка! Как ты? Сейчас повторим кардиограммку, родной!

Она обернулась и столкнулась взглядом с женщиной в белом халате, с высоко закрученной «халой» на красивой, породистой голове.

Та, увидев Владу, тут же запнулась и покраснела.

Влада сразу все поняла – эта баба и есть та самая главврачиха, любовница папаши и его боевая подруга.

Влада взяла со стула сумочку и вышла прочь. У двери она обернулась:

– Ну, при таком-то уходе, я думаю, вы, Виталий Васильевич, скоро поправитесь!

Ей не ответили. Да и что тут ответишь!

На улице она села на лавочку и разревелась. Мимо медленно проходили больные в халатах и пижамах, пробегали резвые медсестрички, мазнув ее равнодушным и быстрым взглядом – что сделать, больница! Горя тут много и много печали. То, что кто-то рыдает, – нормально, не новость, а жизнь.

А он не звонил. Целую неделю – и ни одного звонка. На что обижаться? На то, что она защитила больного отца? За то, что не послушалась его и поехала в больницу? Ну, если все это – повод для смертельной обиды, тогда...

Тут она вспомнила слова отца, и ей сразу стало нехорошо, душно, дыхание перехватило – хилый, сопляк, не мужик.

Разве он не понимает, как ей сейчас тяжело? И где он? Где поддержка? Где – в горе и в радости? Так, как они говорили? Как мечтали, что будет именно так и никак по-другому? А она-то одна. В своей беде, в своей тоске. В своих проблемах.

И она позвонила сама. Наплевав на все: гордость, обида – какая разница? Ей было так плохо, плохо вообще и плохо без него. Да что говорить!

## Так не бывает! Ты меня... предал?

Трубку взяла Татьяна Ивановна и веселым голосом сообщила, что он на сборах, в военном лагере. Почему не позвонил? Ну, тоже обиделся. Оба вы хороши – по больному друг друга. Он про твоего отца, ты про его. Молодость – а в ней обижаются насмерть, надолго. Но все, разумеется, перемелется, и будет мука, – пошутила она, – только в дальнейшем... Ты мне поверь – женщина глубже, умнее. И женщина должна уступать. Как-то смягчать обиду. Ну, жизнь тебя, конечно, научит, – беззлобно заключила она.

У Влады чуть не вырвалось: а вас? Научила? И если вы такая умная, то почему вы одна?

Слава богу, сдержалась. А осадочек-то остался! Спросила, где находится лагерь, но та сказала, что, во-первых, адреса точного нет – да, конечно, можно узнать на кафедре, но бесполезно – туда, в лагерь, все равно не пропускают. Такие порядки. А приедет он через два месяца. Ерунда! Вот тогда все успокоится и все забудется. «А пока – жди письма. Напишет, наверное», – не очень уверенно закончила она.

Ни про отца, ни про мать она не спросила – Влада поняла: враги на всю жизнь. Презирают ее родителей и ненавидят. И даже не стараются этого скрыть.

Письма все не было. Она снова звонила Татьяне Ивановне, та отвечала, что у него все нормально. Почему не пишет? Да бог его знает. Мне пару раз звонил – коротко, правда. Связь там ужасная.

– А мне – нет, – грустно сказала она.

Та утешила:

– Ну почему ты знаешь? Может быть, тебя не было дома?

В гости не приглашала, кстати. Ну да ладно. Два месяца – это и вправду не срок. Надо жить дальше и думать о том, что дальше все сложится. Дальше все будет хорошо. А как по-другому?

Отца уже выписали, и мать снова хлопотала возле него. По-дурацки, суетливо и бестолково. Он орал на нее, она убегала плакать, а Влада снова думала, как поскорее уйти отсюда, из постылого отчего дома.

С отцом она почти не разговаривала, – да и он не стремился. Слышала только, как он громко, не опасаясь, что будет услышан, ежедневно и по нескольку раз беседовал со своей докторшей – докладывал подробно и

обстоятельно, как поел и что, какое давление, пульс и, простите, желудок. Ей стало смешно, и она подумала: а зря он не уходит. Зря не уходит к этой тетке. Наверняка – и это понятно – у них доверительные и близкие отношения. Жили бы себе и радовались. А мать – мать бы пришла в себя, пережила – куда денешься – и тоже зажила бы спокойно.

Два месяца истекали. Теперь она сразу после учебы бежала домой, чтобы не пропустить телефонный звонок. Мать вопросов не задавала, а вот отец однажды спросил:

– Ну что? Одумалась? Раздумала замуж? Значит, зря на папашу обиделась. Умница, дочка. Моя кровь!

– Не зря, – отрезала она, – и обиделась вовсе не зря, и зря ты думаешь, что одумалась. Он просто в отъезде, но как только приедет, твоя умница дочка отправится в загс. И не надейся, что так велика сила твоего воздействия и я так послушна!

Отец равнодушно пожал плечами:

– Хозяин – барин! Будет по-твоему. А уж как оно будет... посмотрим.

И снова она позвонила. И снова трубку взяла его мать.

Она была как-то растеряна и смущена – Влада почувствовала это сразу.

Да, приехал. Нет, дома нет. Почему не звонил? Ой, Владочка, я и не знаю. Занят, наверное. Хотя... ты знаешь, девочка... ты... не звони. У него что-то... переменялось. Передумал, наверное. Сказал, что подумал и – прав твой отец. Рано жениться. Ни жилья своего, ни денег. Запал, наверное, прошел.

– Пе-ре-думал? – медленно повторила Влада. – Запал, говорите, прошел? А что такое – запал? Я думала, что у нас с ним – любовь. А у нас был запал. Я и не ожидала... И папаша мой прав. Ну, просто святой человек мой папаша – провидец! Жизни научил вашего мальчика. Образумил просто, глаза открыл! А мальчик ваш, – она помолчала, – мальчик ваш чудный. Ответственный такой мальчик. И честный! Прошел запал – ну, да бог с ним. Мы – по-честному, прошел, и все. Жениться не будем. И звонить даже не будем – зачем? Зачем травмировать себя, правда? Разговоры вести неприятные? Выяснять что-то, оправдываться? Объяснять про запал? Про жилье и про деньги – а я-то не знала! Ни про то, ни про другое не знала! Думала, что богатый ваш мальчик. Сын подпольного миллионера, ну, или генерала какого-то. Или – директора Елисеевского магазина. А у него – ни квартиры, ни денег. Вот незадача! Переменялось у него, видите ли! Планы поменялись, да? Подумаешь, дело какое! Ну и бог с вами. Живите счастливо. А мой дурацкий и хамский папаша оказался неожиданно прав. Еще одна неприятность, правда? Идеологический противник, дурак и

скотина – а прав ведь! Что вы молчите? Может быть, я чего-то не знаю? А?

– Может быть, – тихо ответила та.

– А! Не догадалась, дуручка! У него что, новый запал?

– Будь счастлива, – еще тише ответила собеседница, – и... не держи на него зла.

Гудки. Раздались короткие и беспощадные гудки. Извещающие о том, что все закончилось. Все на свете – не только этот тяжелый, невозможный и дурацкий разговор. Жизнь закончилась, вот что.

Наложить на себя руки? Как просто! Ну нет. Из-за этого мозгляка? Ничтожества? Оборвать свою совсем юную, драгоценную жизнь? Даже если она в тягость? Да глупости. Не стоит он того. Она все-таки дочь своего отца. А он не из мозгляков, ее папочка. При всех своих мерзостях – нет!

Он, кстати, спросил ее снова:

– Ну? Что? Смылся Ромео твой дохлый?

Она не ответила. Ну, а больше он и не спрашивал. Слава богу.

## Я буду жить, слышите? Буду! Всем назло!

Замуж она выскочила скоро, месяцев через семь. Влюблена не была ни минуты. А что будущий муж не из мозгляков, поняла сразу. Папина школа.

Павел Девятков был хорош собой, щедр и внимателен. Из достойной семьи – и мама, и папа большие начальники. Папа – по космосу, мама – историк. Жених окончил МГИМО и собирался в командировку. Естественно, за границу. Естественно, в Европу. Без папы-космодела здесь, разумеется, не обошлось.

Повстречались три месяца, и она приняла его предложение. Свадьба была небольшой, но *достойной*, как выразилась ее свекровь. В ресторане «Космос» – простым смертным путь туда был заказан. Народу было немного – соратники свекра, пара подружек свекрови, очень похожие на саму свекровь: скромно, но дорого одетые дамы в серьезных украшениях и с серьезными мужьями.

Ее родители смотрелись на их фоне, прямо сказать, не слишком достойно. Особенно мать – папаша еще хорохорился. Но – пережили и свадьбу. Через два месяца, глядя в окно самолета, несущего их с мужем в славный город Кельн, она вдруг подумала: «А что я тут делаю? В этом самолете, в этом удобном кресле, рядом с этим *достойным* человеком? Что ты тут делаешь, Влада?»

И тут же ответила себе: «Я выживаю. Просто нашла себе способ, чтобы не сдохнуть. И осуждать, и жалеть меня – вот точно! – не надо. Каждый кузнец своего счастья, как говорил мой провидец папаша. Мудрец – что говорить. И дочь не отстала – туда же! В кузницу, где куют это самое счастье. Только вот интересно – выкуют ли? И что выкуют, Влада? Посмотрим».

А потом принесли обед, который она с удовольствием съела. Выпила кофе, закрыла глаза, и муж нежно погладил ее по руке.

Внимательный и тонко чувствующий супруг – что называется, уловил настроение.

И это, кстати, он умел делать всегда. В этом ему не откажешь.

Как и во многом, впрочем, другом. Ничего плохого – замечательный человек. А если не складывается, ну, не сложилось, – виновата она. Кузнец своего счастья – как было замечено выше. И больше никто и ни разу. Поверьте!

В Кельне было неплохо. То есть очень даже хорошо, *если бы...* Это «если бы» включало не так много, но «не так» вполне хватало, чтобы почувствовать себя несчастной.

Она не корила себя за то, что столь поспешно выскочила замуж – без всякой любви и даже влюбленности. Потому что понимала: не сделала бы этого, не уехала бы из Москвы – было бы в сто раз хуже. Потому что жить с ним в одном городе и дышать одним воздухом было совсем невозможно. А здесь, вдали от дома, да еще и в другой стране – так все поменялось, вся ее жизнь, – все равно было немного легче.

Днем она бродила по городу, заходила в костелы, в магазины, сидела в уютных кафешках с чашечкой кофе, глазела по сторонам, разглядывала прохожих, и боль чуть-чуть отпускала.

Муж по-прежнему был предупредителен и нежен с ней – упрекнуть его было не в чем.

Но разве любишь того, кого не в чем упрекнуть?

Он как будто ничего и не замечал – наверное, думал, что она просто крайне сдержанный человек, замкнутый и холодный. Что ж, наверное, это и неплохо – его раздражали торгпредские сплетницы и балаболки. Такую женщину он бы не выдержал точно.

А его жена была немногословна, обязанности по дому выполняла с достоинством, а что касается интимной, супружеской жизни – так эта сторона его заботила не слишком. Не все, далеко не все люди на свете стремятся гореть в страстях, пылая на ночных простынях. Все люди разные.

И все же они жили неплохо. Не ругались, не цеплялись друг к другу по пустякам, не раздражались на бытовые мелочи – ей это все было до фонаря, а он – он просто был не брюзга, не зануда.

Через два года она забеременела и родила девочку, дочку. Назвали Наташей. Без выкрутасов. Влада отлично помнила, сколько неприятностей принесло ей собственное имя.

*Его* она почти не вспоминала – потому что просто запретила себе думать об этом. Не ругала его, не обзывала бранными словами и не желала ему пережить то, что пережила она – предательство, худший из грехов. В этом она была абсолютно уверена.

Ничего страшнее предательства не бывает. Когда предает любимый, притом что и тени мысли не возникало, что он на это способен, внезапно, резко, как выскакивает из-за угла коварный убийца, маньяк с толстой веревкой, которую он готовится набросить на свою невинную жертву.

Она не желала ему зла – совершенно! Убивала только одна мысль – все

эти годы она точила Владу, терзала и мучила: почему? Почему он сделал это именно *так*? Как это случилось? Из-за чего? Что такого произошло, что он разлюбил ее и не нашел мужества даже объяснить ей причину?

Она что, не заслужила? Не заслужила простого человеческого разговора и объяснения?

Она старалась его не вспоминать. Но всегда знала одно – точнее, не знала, а чувствовала, – она его никогда не забудет. Он всегда будет с ней. Всегда.

И это ужасно.

Спустя четыре года они вернулись в Москву – деньги на кооператив были собраны, машина куплена, обстановку они привезли из Германии. Дочка росла здоровой и сообразительной. Все было отлично. Достаток, покой, комфорт, стабильность – что человеку надо?

Что человеку надо, чтобы быть счастливым?

А надо совсем другое, оказывается. И она про это знала – гораздо лучше других.

Только... только в одном она заблуждалась – в том, что ничего нет на свете страшнее предательства.

Вот это было не так. Бывают на свете вещи и пострашнее. Болезнь, например.

Болезнь как приговор – страшная и смертельная.



## Так бывает, любимая, но ты – не узнаешь

Тогда, в том далеком, приснопамятном году, когда перевернулась вся его жизнь, в военном летнем лагере, узнав страшную правду, несколько дней он пролежал на кушетке в лазарете, глядя в низкий и грязноватый, сто лет назад побеленный потолок.

Никто его не трогал – лежи сколько влезет. А встанешь – все решено. Поедешь в столицу. Для тебя, парень, построения и пробежки закончились – и, судя по всему, навсегда.

И ведь ничто не предвещало – совсем ничего! Свалился с банальной, как думали все, простудой – после очередного забега по болотам. Промочил ноги – и пожалуйста, температура. Высокая, правда, – сорок и один. Пошел в лазарет, а там, на его счастье (или несчастье), попалась опытная пожилая врачиха. Что-то заставило ее засомневаться, и она настояла, чтобы из ближайшего поселка прислали лаборанта – взять кровь. Через пару дней с огромным трудом, скандалом и боем лаборант из сельской больницы приехал. А через несколько дней был готов результат.

Предчувствие ее, увы, оправдалось – кровь была кошмарная, и она вопила, кричала о том, что...

В общем, это было заболевание крови. Злокачественное. Проще говоря – рак.

Она вошла к нему в палату, села на стул и стала гладить его по голове. У нее тоже был сын – примерно его возраста, – и она все понимала.

Он открыл глаза и внимательно посмотрел на нее. Понял все моментально.

– Что, Анна Петровна? Плохи наши дела?

Она всхлипнула и кивнула:

– Плохи, Сашуля. Прости, очень плохи.

Пощупала лимфоузлы и покачала головой.

Он выслушал все довольно спокойно и, когда докторица закончила свой печальный рассказ, сказал:

– У меня два вопроса. Точнее, вопрос-то один, и еще одна просьба. Первое – мать не должна ничего об этом знать. Вы понимаете? Зачем ей страдать? И второе – только чистую правду, без экивоков и обиняков, потому что так мне будет проще и легче, вы понимаете?

Анна Петровна вытерла ладонью глаза и кивнула:

– Спрашивай, Саша.

Он громко сглотнул тугой комок, стоящий в горле и мешающий говорить и даже дышать.

– Сколько? – только и спросил он.

Она кивнула:

– Да, я поняла. Коротко и однозначно ответить тебе не могу – бывает по-всякому. Я много видела таких больных, работала когда-то в Омске, в гематологии. Повторю – бывает по-всякому – кому сколько отпущено. Год, пять, десять. Это сейчас, в общем, лечат. В Москве – на Каширке, там целое отделение. Жизнь продлевают, что говорить! Но, Саша, ты должен понять, что это будет за жизнь. Температура, слабость, потеря иммунитета. Кашель, зуд, слабость. Постоянные госпитализации – без этого жить ты не сможешь. Твоя жизнь будет подчинена этой... заразе. Она будет распоряжаться тобой, понимаешь?

– А если, – он снова сглотнул, – а если, ну... наплевать? Делать вид, что не знаешь? Что отпущено, то и отпущено, так? Год, два, три – ну, как придется, как сложится, в общем?

– Не хочешь бороться? – удивилась она. – Ну, здесь ты не прав. А если тебе продлят жизнь на год, на полгода? На три года, ну, или пять? Разве это не стоит того? Каждый день, каждый час?

Он помотал головой.

– День, час, – усмехнулся, – полгода... Не стоит! Валяться по клиникам, жрать таблетки, мучить врачей и мать? Нет, к чертовой матери! Этого мне точно не надо.

– Мать, – повторила врачиха. – А ей будет легче, если ты сложишь лапки? Легче, если ты откажешься от борьбы?

– Легче, – уверенно сказал он, – потому что она ничего не узнает. Я... умру внезапно. Для нее неожиданно. Страшно, конечно, но... Она не будет страдать предварительно и ожидать моей смерти. Я не прав, Анна Петровна? Ну, когда итог в принципе известен?

– Ты, Саша, не прав. Разумеется, очень не прав. Ты так молод, что жизнь для тебя – всего лишь копейка. Разве ты, Саша, слабак? Просто смирился, и все? Нет, миленький мой! Надо бороться. За год, за минуту! Потому что жизнь... главная ценность, поверь старой женщине, Саша!

– Жизнь! – повторил он. – Правильно – жизнь! А не жалкое и убогое существование. В ожидании, простите уж, смерти.

– И это тоже... прости меня, жизнь, – вздохнула она и снова заплакала.

– По мне – нет! – жестко отрезал он. – Я не люблю, когда кто-то меняет мои решения и планы.

– Жизнь твоя, и тебе ей распоряжаться, – вздохнула она. – Надеюсь, ты

передумаешь.

Он резко мотнул головой и отвернулся к стене.

Было стыдно – от того, что все эти бессонные ночи и дни он думал о Владе. Больше о Владе, чем о матери. Думал долго, продумывая все тщательно, до мелочей и подробностей, и вот надумал – лечиться он не пойдет, потому... Ну, не пойдет, и все! Не для него эти бесконечные больницы, капельницы, уколы и прочие медицинские муки.

Матери пока говорить тоже ничего не будет. А там – посмотрим. А Влада... Ну, здесь все предельно ясно – от нее он все это, безусловно, скроет и утаит, иначе она – кто б сомневался! – бросится его лечить и спасать. Она не откажется от него, это понятно. Просто бросит свою молодую прекрасную жизнь на алтарь его спасения!

Загубит себя, превратившись в сиделку и няньку, бросит институт и усядется у постели смертельно больного. Ни покоя, ни нормальной семейной жизни, ни детей, разумеется, – *ничего*! Ничего у нее не будет, кроме тоскливого запаха болезней и страданий. Кроме бесконечной боли за него. Ну а когда его не станет – никто не знает когда, – она уже превратится в немолодую, бездетную, больную, замученную проблемами женщину. Сломленную и раздавленную. Все.

Он так четко это представил и так четко это увидел, что сразу решил, что ему делать.

Уехать! Уехать подальше – от нее и от матери тоже. И никто не увидит его больным и медленно (или быстро) уходящим из этой жизни и с этой земли.

Решение показалось ему гениальным, и он даже повеселел. Только понял, что видеть ее, говорить с ней, объясняться, придумывать версии, врать ему не под силу.

И наплевать, в конце концов, что она будет думать про него и какими словами поносить, – здесь важно другое: он не испортит ей жизнь!

Она переживет его измену – а куда денется, переживет! Обида и боль канут в Лету, и она разлюбит его, полюбит другого, выйдет замуж, родит ребенка и будет счастлива.

Проживет долгую, счастливую и красивую жизнь – кто, как не она, этого заслуживает!

А он... Он проживет свою – пусть не такую долгую, но все же, надеется, не самую подлую.

Он провалялся еще несколько дней, пока не спала температура, потом пошел к военкому, все ему объяснил. Тот оказался мужиком вменяемым, и

хоть решения его не одобрил, но все же помог – с тяжелым, конечно, сердцем. Дал ему адрес своего друга, живущего на Байкале. Тот служил там давно – лесником. Был холост, бездетен, суров, но справедлив. В городе, с людьми, так и не ужился – слишком тяжелый характер.

Военком написал другу письмо. Через пару дней, не заезжая домой – видеть мать тоже было еще каким испытанием, – он уехал туда. На Байкал.

Матери позвонил и наврал с три короба – мол, случилась такая история, влюбился по горло в хорошую девочку. Она тут гостила у бабки – сама не местная, с Байкала. Ну, в общем, он уезжает с ней. Надеюсь, мам, ты поймешь и не осудишь – такая любовь! Фотографии с места обязательно вышлю, ну, а попозже – приедешь сама. Нянчиться с внуками. Почему не заехал – так у нее, у невесты, отпуск закончился. Не очень, конечно, красиво, но... Обстоятельства, мам! Да. Переведусь на заочный, уже узнавал, это можно. И еще – так, мелочовка, – Владе ты, ну... объясни. Можешь наврать – как тебе легче. Да, я сволочь, все понимаю. Но – жизнь, мам, так повернула. Я и сам обалдел. Не верил, что такое бывает. Владу любил? А я и не спорю. Но что поделаешь, мам! Как говорится, прошла любовь, завяли помидоры. Не узнаешь собственного сына? Да я и сам не узнаю себя, мам! Ха-ха! Вот ведь бывает как, а, мамуль? Сам офигел! Ну да, сволочь, конечно! И снова не спорю.

И снова – ха-ха.

Мать, как ни странно, поверила. Вот чудеса! И ничего – как ему казалось – не заподозрила. Да, подтвердила, что он гад и свинья, тут же вспомнила папашу, сказав, что кровь не водица и яблоко от яблони, все понятно. Охала про Владу – разве так можно? Сын, что ты творишь! Про выдуманную невесту сказала коротко – знать ее не хочу!

Он опять хохотнул:

– Да при чем тут она-то? Она совсем с краю.

– Хорошенький край, – горько ответила мать. – Ладно, черт с тобой. Делай как знаешь. Все равно ведь слушать не будешь.

– Не буду, – словно идиот, весело повторил он, – точно – не буду!

– Хотя бы пиши! – грустно и безнадежно вздохнула мать. – Что еще ждать от тебя? В смысле – хорошего?

Он положил трубку в дежурке и выдохнул – ну, самое главное. Самое главное сделано. И еще – еще он надеется, очень надеется, что эта его подлость... Ну, Бог не накажет, простит.

А то, что не простит она, Влада, – так даже лучше. Ей будет легче.

Хотя чем еще этот самый Бог может его наказать? После того, что уже случилось? С ним, с его жизнью? С матерью, с Владой?

Вот только остается вопрос – а за что? Ведь он даже и напортачить еще ничего не успел! По молодости не успел – почему же все так?

## Другая жизнь

Спустя неделю он уже вовсю колол дрова, учился топить огромную закопченную печь, кормить кур и кролей, чистить хлев за коровой Дуськой, ворошить вилами сено и снимать колорадских жуков с картофельных кустов. И делать множество других, совсем незнакомых и странных вещей, с которыми он и не думал столкнуться в жизни.

Правда, болезнь иногда давала о себе знать – хотя думать о ней он себе запретил. Только когда накатывала непомерная слабость... он уходил на задний двор и ложился на землю за сараем.

Хозяин, лесник Прокофьич, оказался мужиком суровым и молчаливым – прочел письмо военкома, нахмурил брови и кивнул:

– Живи, коли хочешь. Захочешь уйти – не держу. А то, что больной, – твое дело. Здесь надо работать – просто чтоб выжить. Сдюжишь – живи. Не сдюжишь – пойму. Пойдешь в город и там полегче устроишься. Смогу – помогу, но рассчитывай, паря, на себя. – И буркнул под нос: – Всем надо рассчитывать на себя. На других нет надеги.

Целый день Прокофьич проводил в лесу – уходил рано утром, подоив Дуську и взяв с собой котомку с картошкой, луком, салом и бутыл с молоком. Приходил, когда уже темнело, долго пил чай и ложился спать. Иногда слушал радио – телевизора в избе, понятное дело, не было.

В субботу ходил на рыбалку – привозил омуля, тайменя и хариуса. А однажды приволок усатого гиганта: «Смотри, парень, байкальский осетр! Редкая птица ныне!»

Вечером жарили или коптили рыбу. Из леса Прокофьич приносил корзины грибов – сушил и солил сам, не доверял никому. За ягодами не ходил – говорил, мол, бабье это занятие. Еще приносил много трав и сушил их в сенях – от сердца, от почек, от соплей и от перебива – так называл радикулит.

Ночью страшно храпел, и Саша затыкал уши комками ваты.

Они почти ни о чем не разговаривали – только по домашним делам.

Никто ничего друг у друга не спрашивал. Только однажды Прокофьич обмолвился, что жил в столице, в Москве.

– Вы москвич? – обалдел жилец.

Тот досадливо отмахнулся;

– Москвич, не москвич, какая разница? Везде говна хватает, а уж в столице – тем более.

Саша понял – в жизни Прокофьяча было что-то серьезное, вполне возможно ужасное, ну, или драма тяжелая, или, возможно, тюрьма. На столичного жителя он не похож ни минуты – совершенно сельский мужик, отшельник. Сколько живет он здесь, на этой заимке? Сколько холостует? Сколько ему лет? Совершенно непонятно. Иногда кажется, что он древний старик. А так – побрей, постриги – еще не старый мужик, под полтинник, не больше.

Впрочем, у всех свои тайны. Молчит человек, ну и бог с ним. В душу к нему он лезть не собирается – приютил его, уживаются, да и ладно. Спасибо на этом!

Они для того и ховаются здесь, чтоб никто их не трогал.

Периодически он чувствовал себя вообще хорошо – уставал, конечно, от физической работы, но убеждал себя, что это все с непривычки. Тогда думал – а если? Если ошибка, ну, или прошло? Такое бывает?

Иногда, правда, ему казалось, что его лихорадит, – тогда Прокофьяч заваривал свои «от соплей и жара», и все вроде бы проходило. Аппетит, надо сказать, у него был совершенно зверский – он убеждал себя, что умирающие так жрать не хотят!

Ночью спал теперь как убитый – после целого дня трудов да на воздухе. Ему даже стало нравиться сельское житье – старик научил его доить корову и заставлял пить еще теплое, пахшее луговой травой парное, с пенкой, молоко. Летом он долго плавал в холодной байкальской воде. Однажды старик взял его на охоту, но выстрелить он так и не смог – ни в зайца, ни в утку. Смутился и объяснил, что эта забава не для него. Старик усмехнулся: «Жрать захочешь – стрельнешь!»

А года через полтора он уже мог зарубить курицу, ощипать ее и порубить на куски.

Матери он писал короткие, но емкие письма – все хорошо, живем с женой в ладу. Только в гости не звал и про Владу не спрашивал. Никогда не спросил и ни единого слова.

Ну и умница мать помалкивала – своему дитеньшу простишь и не такое! Спрашивала только, не хочет ли он вернуться в Москву.

А он бодренько отвечал, что нет, ни минуты! Жизнь здесь прекрасна, свободна и чиста.

Что, Впрочем, и не было ложью – совсем. Совсем!

## Чужой город

В Москву он приехал через два с половиной года – совесть заела, да и тоска по матери тоже.

В родном и, казалось бы, знакомом городе он шарахался, точно деревенский мужик из дальней глубинки, впервые попавший в столицу. Город сразу, моментально оглушил его, ошарашил, испугал и накрыл такой безысходной и тревожной тоской, что, если бы не мать, он тут же бы уехал обратно, в первый же день.

Мать открыла дверь и несколько минут смотрела на него, не веря своим глазам. Потом они обнялись, и мать разрыдалась. Они пошли в комнату, сели на диван и долго, очень долго, сидели, обнявшись и замерев. Потом мать бросилась его кормить, и он, отвыкший от салатов и пирожных, мычал от удовольствия, зажмурив глаза.

Мать сидела напротив, подперев голову руками, и с удивлением, нежностью и болью смотрела на него, не отрывая глаз.

– Не кормит жена? – вдруг спросила она.

Он вздрогнул и растерянно посмотрел на нее:

– Ну... почему сразу – не кормит! Кормит, конечно. Только без этих всех изысков, – и он кивнул на стол. – Там, у нас... просто все, понимаешь? Что поймаешь, ну, или в лесу соберешь, как в поговорке – как потопаешь, так и полопаешь.

– Да-а? – удивленно протянула мать. – Вы там совсем дикие, что ли? А разве в деревне не держат скотину? Коров, поросят? Птицу разную?

– Да держат, конечно, – оживился он, – корова у нас, Дуська. Куры... разные. Кролики.

– А фотографии ты привез? Ну, жены своей? Новой родни? Как обещал, Сашка?

– Мам, – он опустил глаза, – не любят они фотографироваться! Понимаешь? Совсем не любят!

Мать усмехнулась.

– Сектанты, что ли? Или староверы какие?

– Почему сразу сектанты? – делано возмутился он. – Скажешь тоже! Глупость какая-то, – продолжал он бурчать от смущения. – Просто... не любят. Там совсем другие люди, мам. Абсолютно другие. А если сравнивать с нами – то это вообще, смех и грех.

Мать остановила его.



– Люди везде одинаковы, Саша. Ты мне поверь! И хотят все ну примерно одного и того же. Перечислять или не надо? Сам знаешь? Просто ты мне врешь, Саша! Врешь давно, уже три года. И тебя не волнует, как я живу с этой ложью. И не могу задать тебе вопрос – почему? Почему, сыночек? Почему ты бросил институт, почему бросил Владу, почему бросил меня и Москву? Ведь должна быть причина, Саша? Серьезная причина, сынок!

Он молчал, опустив голову. Долго молчал. Молчала и мать. Потом она встала, подошла к нему, провела рукой по его голове – против роста волос, как всегда делала в детстве, и наконец тихо и твердо сказала:

– Ты все расскажешь мне, сын! Вот отдохнешь и расскажешь. Договорились?

Он кивнул. Молча.

И пошел к себе в комнату. Спать. Проснувшись – а уснул он тут же, моментально, только успев оглядеть свою комнату, показавшуюся такой родной, что он сглотнул тугой комок в горле, чтобы не разреветься, – проснувшись, он долго лежал с открытыми глазами, раздумывая, сказать ли матери правду. И решил – нет, ни за что. Эта правда ее доконает, убьет, и она ни за что не отпустит его от себя. И еще он понял – остаться здесь, в этой квартире и в этом городе, он не готов. Совсем не готов. Он – вот чудеса! – уже скучал по заимке, по их с Прокофьевичем хозяйству, по лесу, по озеру, по густому, пахнущему лесом и травой, словно жирные Дуськины сливки, воздуху и по всей той жизни, к которой он так неожиданно и крепко привык. К которой он прикипел.

И он придумал. Вечером, за чаем, он рассказал матери эту фальшивую историю – совесть, конечно, мучила, но, как говорится, ложь во спасение – благо.

Он беззастенчиво врал, что Влада ему изменила – нашла себе богатого хахаля из какой-то «серьезной» семьи, вроде бы дипломатов. И объявила ему, что собирается замуж.

Ну, про его душевное состояние говорить и не стоит – тут все понятно. Предательство пережить он не смог, да, наверное, он сломался и решил уехать. Сбежать. Так, казалось ему, будет проще. И вправду, он пережил эту историю и даже окреп духом и телом. «Ну, ты же сама видишь, мам!» – бодренько улыбнулся он, задрал рукав майки и натянув бицепсы.

Мать молчала, обдумывая сказанное.

– Странно как-то, – задумчиво сказала она, – про Владу странно. Она ведь звонила. Часто звонила. Очень просилась приехать. Требовала твой адрес, когда ты сбежал. Повторяла, что этого быть не может. Ну, что ты

нашел другую и забыл про нее. Нет. – Мать покачала головой и повторила: – Очень странно. А ты ничего не путаешь, Сашка? Может быть, все это – сплетни? Наветы, ложь, ерунда?

Он рассмеялся.

– Ну, ты даешь, мам. Я – перепутал? Когда человек говорит мне в лицо и прямым текстом – и я перепутал?

Мать вздохнула и пожала плечами. Немного помолчав, словно раздумывая, стоит ли продолжать эту тему, вдруг сказала:

– А знаешь, Сашка, я ведь ее видела. Месяцев через восемь, ну, или что-то в этом роде. Видела в метро, на эскалаторе. Я – вниз, она – вверх. И ехала она не одна. Какой-то высокий парень держал ее за плечо. Уверенно так держал, ну, по-хозяйски, что ли. Естественно, я ее не окликнула – ты ж понимаешь. Вот, собственно, и вся история, сын.

– Ну! Я ж говорил. Да бог с ней, – весело откликнулся он и небрежно махнул рукой. – Что мы о ней да о ней. Поедем, мам, в центр. Просто так прогуляемся. По Арбату, по Горького, а?

\* \* \*

«Быстро утешилась, – думал он, – быстро! Месяцев восемь, как мать говорит. Ну, значит, все правильно». То, что он сделал, – единственно правильный путь. Он освободил ее от себя, от своей болезни. Освободил от мучительной роли сиделки и няньки. Освободил от боли, волнений, безденежья – что может заработать больной человек? Какую дать жизнь молодой и красивой женщине? Запах больницы, запах болезни. Запах горя. Потеря золотых, молодых лет и дней? Все правильно он решил, все верно. Она наверняка вышла замуж, родила ребенка и – живет и не тужит. Свободная и счастливая Влада. И дай ей бог! Заслужила.

А то, что он ее оклеветал, так это фигня, она же про это не знает! А что о ней подумает его мать – так это точно ее не волнует.

И мать не узнает, что он все наврал. Вероятность их встречи минимальна. Совсем мизерна и почти невозможна. И какое ей, Владе, дело до того, что думает о ней женщина, которую она наверняка давно и прочно забыла. Так же, как и его – вруна и изменника.

В Москве он пробыл почти две недели. Пару раз сходили с матерью в театр и даже один раз в цирк – вдруг ему захотелось, как в детстве.

То, что он уезжает, мать приняла мужественно и почти спокойно – по крайней мере, держалась хорошо. Договорились, что летом она приедет к

нему погостить. Это скорее всего ее и успокоило, и примирило с ситуацией.

Прокофьичу он купил – не без помощи матери – две теплые байковые рубахи и новый транзистор и отправился в путь. Домой – как сказал он себе. Чудеса!

В поезде, который вез его в Иркутск, он много спал и читал. На сердце теперь стало спокойнее – ну, во-первых, за мать. А во-вторых, то, что она рассказала ему про его бывшую девушку, тоже его успокоило – жива, здорова и, судя по всему, еще и счастлива. Дай ей бог!

На перроне мать спросила его:

– От кого сейчас бежишь, сынок?

– От себя, мам, – коротко бросил он, – от себя.

Прокофьич ему обрадовался – это было видно сразу, по глазам. Глянул на подарки и буркнул:

– А это еще зачем? Кто просил?

Но было видно, что и подаркам он рад – во всяком случае, новую рубаху на следующий день надел. Обновил.

А через три месяца он вдруг заговорил, что называется. Как-то вечером, покуривая на бревне перед домом, вдруг рассказал о себе.

## Еще одно горе

История, которую он поведал, была дикая и невыносимая. Прокофьич жил под Москвой, в Люберцах – почти Москва, что говорить. Жил с любимой женой и дочкой. Служил на каких-то складах, сказал коротко – охранял важный объект. Углубляться не стал. Жена работала поварихой в столовой, дочка ходила в школу. И однажды, в два часа ночи, пока он охранял свой важный объект, квартиру вскрыли – скорее всего ломом или другой железякой. Открыли тихо, неслышно. Никто не проснулся. Жену и дочку зарезали сразу – слава Господу, они не проснулись. А из квартиры вынесли старый цветной телевизор «Темп», приемник «Ригонду», тоже древнюю, на тонких и хилых, шатких ногах, и сто рублей денег – тех, что копили на отпуск.

С работы он возвращался рано, в полвосьмого утра уже был в подъезде. Поднялся на свой второй и увидел, что дверь открыта и как-то подозрительно, страшно тихо. Жена вставала рано, провожая дочь в школу и ожидая с завтраком мужа с дежурства.

И он, минуто помедлив, шагнул в квартиру. В свой ад.

Потом было много чего – допросы, следствие. И даже подпал под подозрение. Он, сходя с ума от горя, дал в морду следователю в его же кабинете – после слов, что придется еще и проверить его алиби. От этих слов он начал задыхаться и, крепко вмазав уроду в погонах, тут же рухнул, потеряв сознание.

Его увезли с инфарктом – это его и спасло. Отвалявшись в больнице, он долго еще болтался по кабинетам, призывая искать убийц. Его не слушали, гнали прочь и дело закрыли – висяк. Он начал свое собственное расследование и через пару месяцев нашел тех ублюдков. Оказалось все просто – два наркомана, родные братья, жившие в доме напротив. Знали, что хозяина нет, и пошли добывать на очередную дозу.

Нашел их он просто – кто-то обмолвился, что сосед купил телевизор и не дает никому житья – телевизор орет до поздней ночи и не выключается никогда.

Он решил, что суд свершит сам, без посторонней помощи – тем более ментовской.

Успел разобраться с одним – второй накануне подох от передоза. Ну а живого братка он удушил – капроновым чулком погибшей жены. Прямо там, в его же квартире.

А потом пошел в ментовку. Ему повезло – следак на сей раз попался вменяемый, да и судья вполне – к тому же сыграло роль, что дело так и не было раскрыто, а дело-то пустяковое!

Дали ему пять лет. И он, отсидев положенное и на все наплевав, в Москву не вернулся. Сюда, на заимку, попал случайно – в поезде, идущем в Иркутск, встретил мужика из лесничества, и тот предложил ему должность.

– Ну а у тебя чего? Тоже – темно, если копнуть? – после своего рассказа спросил Прокофьич.

Саша мотнул головой.

– Криминала – нет, никакого. Только душевный – здесь я, наверное, преступник. Предал одну женщину и вру второй. Самым дорогим и близким.

И коротко, без подробностей, рассказал Прокофьичу свою историю.

Тот слушал молча, а дослушав, сказал:

– Зря ты так. Зря врачей сторонишься. Может, и помогли бы? А? Давай-ка в Иркутск сгоняем? Проверимся? Ну, или в Нижнеангарск? Я тебя поддержу, если что.

– Не сейчас, – ответил Саша, – сейчас – не хочу.

Прокофьич вздохнул, пожал плечами, затушил папиросу и молча пошел в дом. На пороге оглянулся:

– Иди в избу! Холодает.

Сильных приступов лихорадки у него не было почти два года. А потом случилось. Распухли лимфоузлы, и температура поднялась до сорока. Не помогали и травки, которые заваривал Прокофьич.

А через три дня Прокофьич привез из поселка врача.

В больнице в Слюдянке он провалялся около месяца. Лечащий врач, узнав, что он москвич, уговаривал его ехать в столицу. Он отказался. Прокофьич приезжал раз в неделю и молча сидел у его кровати. Позже, когда ему стало чуть лучше, выводил его гулять в больничный двор, предварительно укутав в больничный халат, нацепив вязаные носки и накинув свой овчинный тулуп. Он перевез его домой, положил в кровать и приносил ему еду и горячий чай – на табуретку возле кровати.

А однажды уехал на целый день, с раннего утра и до глубокого вечера.

Саша тогда много спал, почти все время спал, дни напролет, а однажды открыл глаза и увидел перед собой мать, сидящую на стуле и неотрывно смотрящую на него.

Она была бледнее мела, с черными провалинами под глазами, с кое-как заколотыми волосами, в которых проглядывала свежая седина, –

замученная, перепуганная, несчастная.

Она старалась держаться и не плакать. Только укоряла его очень тихо:

– Как же так, Санечка? Как же ты мог утаить? Ведь мы бы справились вместе. В Москве! Я бы всех подняла! И... отцу бы твоему позвонила!

Он гладил ее по руке.

– Ну прости, мам! Вышло как есть. Извини. Я думал, так будет лучше. Всем. И ей, и тебе.

И снова просил прощения. Потом ему стало лучше, он понемногу стал выходить во двор и долго сидел на бревне возле дома, щурясь от весеннего солнца и думая о том, что жизнь, собственно, продолжается.

## Дай им бог, заслужили

Мать и Прокофьич сошлись так неожиданно для него, что он поначалу ничего не заметил. Просто однажды мать – Прокофьич «сробел», – сильно смущаясь, сказала ему об этом. Он удивился, конечно, но так обрадовался, что шутя, разумеется шутя, стал требовать свадьбу.

Они махали руками, отказывались, а потом он их уболтал – поехали в Листвянку и «отыграли» ее в ресторане – в большом, шумном, дымном, словно привокзальная площадь.

Но все вроде были довольны. Он даже станцевал с матерью медленный танец.

Теперь он совсем успокоился – мать не одна, и если что... С Прокофьичем она точно не пропадет. Да и за «деда» он был искренне рад.

Только стал понимать – он им мешает. Он лишний в избе. Теперь стал лишним.

И решил, что надо уехать. Они, конечно, встрепонулись, разохались, пытались его удержать. Но он был непоколебим. Уеду, и точка! Хватит мне с вами тут. Я ж молодой мужик. Может, еще и женюсь. Кто знает? Не всю же жизнь мне тут сидеть с вами, со старичьем...

В общем, уехал. Москву отмел сразу – отвык от столичного шума и суеты. Да и совсем не хотелось в прошлую жизнь.

Выбрал небольшой городок Бабушкин. Устроился в баню, истопником. Полюбил топить печи. Снял комнату. А через полгода он встретил Лену.

## Лена

Они почти не встречались – не дети. Лена была разведенкой и жила в своем доме с сыном и с матерью. Работала нянечкой в ночных яслях. Жили бедно, но спасал огород, в котором трудилась Ленина мать.

После пары свиданий Лена привела его домой и сказала матери и пятилетнему сыну:

– Мой муж. А тебе, Митька, папка!

Митька оторвался от телевизора, внимательно посмотрел на него, потом степенно, вразвалочку подошел. Громко вздохнул и протянул маленькую ладошку:

– Ну здравствуй, папка! Коли не шутишь.

Он глянул на Лену, и они рассмеялись.

– Участь моя решена, – сказал он ей.

И она серьезно, даже сурово, чуть сдвинув брови, кивнула.

Жили они хорошо. Так хорошо, что он иногда удивлялся – простая, практически деревенская женщина с восьмилетним образованием и он, избалованный столичный житель. Бывший студент, любитель авторского кино, авангардной живописи и литературы, которая не для всех.

Что может быть у них общего, что?

Жизнь может быть общая. Мало? По-моему, «очень достаточно» – как говорила его новая теща, когда ей наливали суп или чай.

И кстати, была абсолютно права.

И еще – жена его удивляла. Такой душевной тонкости, такой внутренней культуры, такого глубокого достоинства человек была его Лена. С ума сойти – и откуда, спрашивается?



## Да все хорошо. Честное слово!

«Стерва! Стерва, – думала она про себя. – И чего тебе не хватает? Муж, о котором только мечтать. Прекрасная дочь, почти беспроблемная девочка. Достаток. Приличный, надо сказать, достаток. И никогда – никогда! – за всю их семейную жизнь не было дня, чтобы приходилось думать о хлебе насущном». Вопросы любого рода решал муж – ремонт, строительство дачи, смена машины. Даже поездки на рынок он с удовольствием брал на себя. Нет, она, разумеется, ни от чего не отказывалась – да ради бога! И дом вела прилично, ничем не манкируя.

И все же... жизнь свою она считала неудавшейся. Но об этом никто не знал – ни-ни! Стыдно ведь в этом признаться. Даже самой себе стыдно. Удачный брак, ну и так далее.

Только однажды она вывела формулу – формулу своей женской судьбы: брак удачный, но несчастливый. Вернее, так: все у нее хорошо, да. Но назвать себя счастливой, что называется, язык не поворачивается. Счастье – оно же в любви, разве не так?

Нет, с другой стороны – муж ей не противен, ни разу. Скандалов в семье не бывает – так, мелкие трения. Но все прилично, без оскорблений и унижения.

Она уважает его – безусловно. Ценит – да, разумеется. Считается с его мнением – определенно. У них много общего – за долгие годы жизни супруги, как известно, даже внешне становятся похожи. Ни разу – ни разу! – она не заподозрила его в измене или в обмане. Он был не только хороший муж и отец, но и прекрасный сын. И это тоже вызывало глубокое уважение.

С ним она увидела мир и много хорошего, да.

«Так что же тебе еще надо, кретинка? Восторгов до небес? Страсти – той, что до дрожи? Кипеть, бурлить, чтобы все на разрыв? Да бог с тобой, дурочка! Разве так проживается семейная жизнь? Разве счастье – не в тихих семейных вечерах перед телевизором да за чашкой свежего чая? Семья – это же другое, совсем другое! Это быт, планирование. Это стабильность, если хотите. Но уж точно не страсти-мордасти». И самое главное – здесь, в этом браке, она была уверена, что ее не предадут. Никогда. Как предали однажды...

И эта уверенность многого стоила. Ведь ее почти лишены – причем навсегда, словно вырезали скальпелем, – те, кого уже предавали.

Она даже теперь, по прошествии лет, не могла спокойно думать об этом. Потому что становилось трудно дышать. Подумаешь – история давно забытых дней! Далекая и дурацкая бесшабашная молодость. Первая любовь, которая, как всем известно... редко чем-то оканчивается. Крайне редко. Она – молодая дурочка. Он – мальчишка, сопляк. Испугался и «соскочил», поняв, что не готов быть мужем. Сколько таких историй!

А ей все равно сколько! Потому что эта история – только ее. Ее история и ее боль.

А то, что вышла замуж... Так здесь все понятно: не вышла бы – сдохла. Сдохла, и все, конец.

## Праздник! Праздник?

Гости уже вовсю закусывали и выпивали. Здесь, на воздухе, елось и пилось замечательно. Она оглядела пышный стол, кивнула мужу, и он положил ей салат и слоеный сырный пирог.

Наполнили рюмки, и первым, конечно же, слово взял муж.

Гости притихли. Муж кашлянул, улыбнулся, и она увидела, как он волнуется.

Его тост был краток и емок.

– Спасибо Господу за этот подарок – эту женщину, которая мне назначена в спутницы. Спасибо ей, моей женщине, за ее терпение и уважение.

Она приподняла бровь – какое терпение, господи! Уж просто смешно говорить!

Муж поднял кверху ладонь и продолжил:

– Спасибо за дочь. За красивый и теплый дом. За уют и комфорт. За поддержку. За «ни слова попрека» – ни разу, поверьте!

Все кивали и верили – эта пара считалась образцовой.

– Ну и вообще – за все-все, дорогая. За то, что ты – просто рядом, и все!

Она даже слегка растерялась и чуть покраснела. Смущенно пожала плечом – ну, я понимаю, юбилей. Но ты все-таки слишком преувеличил!

Он замотал головой и улыбнулся – нет, дорогая. Мне-то со стороны, знаешь, виднее!

Он поцеловал ее, она сказала «спасибо», и все зааплодировали и заулыбались. Ну, и дружно все выпили, разумеется.

Потом взяла слово она. Попросила коротко и очень требовательно, так, что и не возразишь:

– А вот на этом тосты закончились. Все пьют, едят, веселятся – ну и все остальное. Кому что понравится. А здравицы – ну, не люблю, извините.

Это было чуть резковато, но все облегченно вздохнули: не хочет – не надо! Так еще проще.

И вечер продолжился. После горячего – кучи разного шашлыка – мясного, куриного, рыбного, после печеных овощей всех цветов и калибров тихо заиграла музыка, и гости пошли танцевать. «Растрясись», как было объявлено.

Она посмотрела на мужа, и он, поняв, кивнул. Они танцевали

медленный танец, и она положила голову ему на плечо.

«А я ведь... счастливая! – вдруг подумала она. – Счастливая и глупая. Просто глупая дура. Очень глупая...»

А кстати, бывают умные дуры? Получается, что бывают.

Музыка кончилась, и они остановились. «Подожди», – шепнул муж.

Он подошел к музыканту и что-то ему сказал. Тот кивнул и взял первый аккорд.

«Странная женщина» – ее любимая песня. Потому что про нее, что ли...

Ну, ей так казалось.

Муж подошел к ней, и они посмотрели друг другу в глаза. Потом она взяла его за руку, и они снова медленно и нежно, как-то очень бережно и осторожно, продолжили танец.

«Странная женщина, странная! – надрывался певец. – Радость полета забывшая! Что ж так грустит твой взгляд? В голосе трещина. Про тебя говорят – странная женщина! Странная женщина, странная! Схожая с птицею раненой! Грустная, крылья сложившая. Радость полета забывшая. Кем для тебя в жизни стану я?»

Песня такая – нельзя без надрыва.

Ну, певец и старался.

Потом официанты накрыли чай и внесли торт. «Господи, – ахнула она, – ну, просто как свадебный! А я – далеко не невеста...»

На торте горело восемнадцать свечей. Она вопросительно посмотрела на мужа. Он улыбнулся – ну да! Тебе – всегда восемнадцать.

Она снова смутилась, покраснела и еле сдержала подступившие слезы.

Ничем и никогда. Ничем и никогда он ее не разочаровал, этот мужчина...

Когда разъехались последние, самые поздние гости, она упала в плетеное кресло.

– Уф, слава богу, что все позади! Нет, – испуганно поправилась она, – все было прекрасно. Сказочно просто. И все равно – ты уж прости, – утомительно. Ну, не любитель я этих шумных застолий и праздников. А вообще – все прекрасно, конечно. Я – счастливая?»

Ночь была душной и темной. Где-то очень далеко, еле слышно, раздавались раскаты грома.

Она ворочалась, пила холодную воду, несколько раз вставала к окну и медленно и глубоко втягивала теплый тяжелый воздух. Потом залезла в

душ, под почти холодную воду, потому что тело тоже было горячим и влажным.

Сморило ее только под утро, когда уже вовсю распелись птицы и стало почти совсем светло.

Спала она долго, почти до полудня, а когда открыла глаза – испугалась. Так долго она давно не спала. С самой юности.

Мужа уже не было – уехал в Москву по делам. Дочка качалась в гамаке и болтала по телефону. Она помахала ей и села на террасе пить кофе.

Погода была душная, предгрозовая – воздух «висел», словно авоська за оконным стеклом, тяжело покачиваясь и грозя оторваться.

Она посмотрела на небо – оно быстро темнело, наливаясь густым свинцом, и с неба упали первые тяжелые, крупные капли.

– Наташка! – крикнула она дочери. – Иди в дом! Добежать не успеешь! Дочь беспечно махнула рукой, продолжая болтать.

А она пошла в дом, поднялась на второй этаж, к себе в комнату, и закрыла все окна – дождь набирал силу и уже вовсю, ожесточаясь все больше и больше, барабанил по крыше. Она увидела, как дочка, промокшая насквозь за пару минут, резво рванула в дом.

«Удивительное создание, – подумала она, – совсем не предвидит очевидной опасности. Впрочем, как и ее мать – никакой интуиции».

Она вздохнула и легла на кровать. Вот оно, счастье! Обычное бабское счастье – никуда не спешить. Не рваться – ни на работу, ни к плите, ни к пылесосу. И снова подумала о своем муже – в смысле: спасибо!

Потом она блаженно закрыла глаза и слушала, как дождь, уже слегка выровнявшийся и монотонный, стучит по крыше. Она очень любила дождь. А кто ж не любит – на даче, под пледом, да с ощущением счастливого бездействия и безгранично отпущенной лени?

В общем, еще раз – спасибо!

## **И все-таки – жизнь!**

Жизнь в этом маленьком городке, в этом медвежьем углу была монотонной и сонной, как долгий осенний нерадостный дождь.

Работал он посменно, а в выходные ходил в лес, на озеро порыбачить, ну или занимался домашними делами – они, как известно, найдутся всегда.

Лена, жена его, была женщиной тихой, немногословной. Немного обидчивой и легкой на слезы – это да, было. Но жили они мирно, почти не ругаясь и почти не разговаривая – так, по делам, коротко и четко. Принеси воды, наколи дров, проверь у Митьки уроки.

Теща возилась на кухне, не трогая его ни по каким вопросам, – стеснялась. Стеснялась, что он городской, и вообще, из другого теста, не то что они – люди простые, провинция.

Митьку он почти полюбил – мальчишка был не вредный и не противный. К тому же – молчун, как все в их семье.

Никто его не тревожил, не напрягал – и это было самое главное. Он жил, по сути, своей обособленной жизнью, общаясь с семьей по ходу, по делу, особенно не задерживаясь.

И все были, казалось, довольны: теща – что муж дочке достался непьющий, да и что достался вообще. Митька – что у него наконец появился отец – пусть не настоящий, но все же.

А Лена – Лена любила его, как могла, – просто, бесхитростно, где-то в душе понимая, что достаться он должен был совсем не ей, но так случилось. Выходит – такая судьба. Он не обижал ее, отдавал ей зарплату. Не отказывал в помощи и мужественно делал с Митькой уроки.

Пару раз они ездили к *родне* на заимку. Свекровь была женщиной спокойной и невинной, невестку не доставала и вопросов почти не задавала. Ну а Прокофийч – тот совсем был молчуном, что Лене было очень понятно.

На летние каникулы свекровь забрала Митьку к себе, а освободившиеся родители мечтали поехать в Москву. Вернее, мечтала Лена, а муж – муж, тяжело вздохнув, согласился. В столицу ему совсем не хотелось.

Только отпуск не состоялся – в июле ему стало плохо. Совсем плохо, так, что не было сил встать с кровати.

Лена хотела сообщить матери, но он отговорил ее – ничем она не поможет, а душу сорвет. Да и Митька – куда срывать парня?

Жена согласилась, но на больнице настояла. Он долго отказывался – почти две недели. А потом, когда она вдруг расплакалась так, что и он испугался, наконец согласился – ему вдруг стало так жалко ее, что под ее быстрые причитания, деревенские, наивные и трогательные, под ее вопросы, на кого он оставит ее и сына, он согласился и попросил вызвать соседа с машиной.

Лена подхватила, бросилась собирать вещи, а сосед уже сигналил у забора, давая понять, что сильно спешит.

В больницу они приехали поздно вечером, почти в ночь, и Лена наотрез отказалась уходить. Весь месяц она не выходила из палаты – кормила его с ложки, выносила утку и протирала его одеколоном, да так, что запах разносился по всей больнице – жена парфюмерию не экономила.

А он почти умирал. Так плохо ему еще не было. Он даже простился с ней, вернее, пытался проститься. В эти минуты она закрывала ему рот холодной ладонью и, сдвинув брови, мелко мотала головой.

– Ты только молчи, умоляю! Только молчи! Тебе надо силы беречь!

Он в который раз повторял ей, что болезнь его никуда не делась и уж теперь точно не денется. Что это, возможно, и есть конец. Что надо принять эту правду и с нею смириться. А она продолжала закрывать ему рот и мотать головой.

Он видел, как она похудела и постарела, но тогда, пожалуй, впервые ему захотелось смотреть на ее лицо – долго и безотрывно. И еще – с большой нежностью.

## Глупая и все-таки... счастливая?

Она лежала под теплым пушистым пледом, слушая шум дождя. Он то утихал, то барабанил с удвоенной силой. И это было такое блаженство... Она задремала, но быстро проснулась.

«Хватит быть несчастной, – подумала она, – все, хватит, хорош! Столько лет пестовать, лелеять свою боль и страдания. Наверняка приукрашенные. Себе-то можно в этом признаться! Подумаешь – так ошпарилась в юности, что до сих пор не может прийти в себя. Господи боже мой! Подумай про других женщин – кому и что выпало. Подумай про свою несчастную и забитую мать, например. Хорош примерчик, нет? Ну, и про всех остальных – ты же начитанная девочка, вот и вспомни классиков. Много ли там счастливых? Когда вокруг столько горя, проблем, нищеты... Тебе так много дадено. Муж, дочь, достаток. Признай наконец, что жизнь твоя удалась, сложилась. Тебя любят – а это уже так много, что... Да что говорить! А ты живешь тяжело – внутри себя тяжело. Отпусти себя и – радуйся жизни! Ведь совсем не известно, как бы тогда все сложилось. Вы были так молоды и так глупы. Что могло получиться тогда? Вряд ли что-то хорошее! Да и потом – кто не знает любви без предательства, тот не знает почти ничего, – пела прекрасная поэтесса и певица».

Она потянулась, громко зевнула, повернулась на бок и открыла глаза. На стене висела картина. Ее портрет. Муж заказал его по фотографии очень и очень известному художнику. Хорошему, надо сказать, художнику. И дорогому. Портрет удался – тот бородатый умелец ухватил самое главное – грусть и печаль в глазах. Портрет так и назвал – «Странная женщина».

Она действительно там, на портрете, была странной – отрешенной, что ли. Такая вот взглядом в себя. Словно ищет там, в себе, ответ на свои вопросы, что ли? И никак не может найти.

Она долго смотрела на картину, а потом кивнула и спросила:

– Ну что, дорогая? Ты как? А давай-ка... Давай-ка попробуем по-другому? Порадостней как-то. Повеселей. Может, получится, а?

Ей вдруг захотелось позвонить мужу. Это бывало нечасто, звонила она ему только по неотложным, вдруг возникшим делам. Ну, когда нельзя повременить. Понимала – муж занят, и занят серьезно. Да и потом – зачем звонить просто так? Это у них было не принято.

Она взяла в руки мобильный, но почему-то задумалась. А может, ну



их, порывы? Не ее это как-то. Совсем не ее. Он, не приведи господи, удивится, насторожится и даже испугается. И что она ему скажет? Что? Я соскучилась, милый? Хотела услышать твой голос? Спросить, как дела? Или – когда ты приедешь и что приготовить на ужин?

Бред. Точно – его хватит кондратий. Не приведи господи. Она отложила трубку и снова закрыла глаза.

Подумала: а ведь не только себе она не дает быть счастливой. И ему ведь – в том числе. Ну, разве бы он не обрадовался ее неожиданному звонку? Разве ему не было бы приятно услышать, что она по нему соскучилась?

Дура какая, господи! На шестом десятке – дура! Зашоренная, закомплексованная, трусливая дура. Себе не дает воли и другим не дает.

А ведь она и вправду соскучилась по нему. Вот как бывает... оказывается.

Ну, день открытий просто! Познаний, что ли. В смысле – познай себя и откроешь других. И никак не иначе.

## Спасибо за все и – прости!

Больницы шли чередом. Передышки были недолгими и почти не приносящими ощущения жизни. Нет, он пытался. Пытался жить по-прежнему. Но не получалось. Все его жалкие попытки хоть как-то соответствовать статусу мужа проваливались в тартарары. Сил было мало. Почти совсем не было сил. А жизнь в деревенском доме, как вы понимаете, предполагает... Когда в доме здоровый мужчина, все это не кажется страшным. Обычное дело – наколоть дров и сложить в поленницу. Принести ведер эдак пять воды – это если нет стирки, а так, на готовку и чай. Ну, и всякое по мелочам – проводка, прохудившаяся крыша, покосившаяся дверь в сених, выскочившая половица. А он... он не мог. Все это стало так тяжело и так не по силам...

Ну и, естественно, начались страдания. Жена не попрекнула ни разу. Ни жена, ни теща. Та, простая деревенская баба, безусловно ценившая в мужике физическую силу, от которой зависела жизнь семьи, ни разу не бросила на него ни одного косого и недовольного взгляда.

А жена – та только сводила брови, таща очередное ведро от колодца или взмахивая топором над поленом.

И снова ни грамма раздражения, ни толики недовольства, ни слова попрека.

Но разве это могло облегчить его муки? Однажды он сказал жене, что хочет уехать к матери и Прокофьючу на заимку.

– Помирать там собрался? – сдвинула брови она и помотала головой. – Нет, мой милый. Здесь твой дом и твоя семья. И отпускать *туда* я тебя не готова! Слышишь?

– Зря, – бросил он и отвернулся к стене, – ты не права. – Потом резко повернулся и посмотрел на нее: – Слушай, Лен! А... зачем тебе это все?

На лице ее отразилось такое недоумение и непонимание, что сведенные брови тут же взлетели вверх.

Она медленно покачала головой.

– А ты глупый, Саня! – сказала она, чуть улыбнулась и медленно выдохнула. – Очень ты глупый, мой муж. Хоть и москвич, и образованный... вроде. Книжек столько прочел. Мне и не снилось. А... как был дурнем, так и остался. – И она улыбнулась. – Ты мне муж? Или кто?

– Или кто, – хрипло ответил он, – какой из меня муж, Лена? И еще я, – он закашлялся от волнения, – и еще я обуза тебе. Наказание господне. Вот

кто я, Лен!

Смотреть на нее было страшно, и он отвернулся.

– Как есть дурак, – снова вздохнула она и тяжело поднялась с табуретки.

Он поймал ее за руку.

– Сядь, – попросил он.

Она послушно и осторожно села.

– Я ведь... – он помолчал, – ничего хорошего тебе и не дал. Ничего для тебя не сделал. Сначала... Ну, прости, не хотелось особенно. А теперь... Когда захотелось... Теперь – не могу. Ничего не осталось. Ни сил, ни желаний. Нет, вру! Желания остались. Но – бодливой корове бог рога не дает, как известно. Ничего. Ничего я не успел тебе дать! Даже в Москву не свозил. А ведь мог. Сколько раз мог! А неохота было. Просто неохота, и все. А про тебя... я не думал. Нет, не так. Думал – успею. Честное слово! Веришь?

Кивнула.

– И еще... да что там Москва. Я и в Иркутск с тобой ведь не съездил. И в Нижнеангарск. В театр тебя не сводил. В ресторан – ни разу! В кино. Денег давал – копейки. Ни духов, ни золотого колечка... Ничего ведь, Ленка! Ну, и какой от меня прок? – смущаясь, шутливо спросил он.

Не сразу ответила. И у него заколотилось сердце.

Потом тяжело вздохнула и, наконец, переспросила:

– Прок, говоришь? Понятно. А прок, Сашуня, такой. Ни разу ты меня не обидел – чтобы так, по-серьезному. Не обозвал. Не крикнул ни разу. И не унизил. В дым не пришел ни разу. Не поднял руки. Митьку моего не обидел и даже не цыкнул, когда тот доставал. На маму не злился – тоже ни разу. А денег – денег мне много не надо. У нас же хватало на все. Не голодали и в обносках не бегали. Театры – да жила я без них и еще проживу. А кино и по телевизору крутят. А уж про колечки – так это совсем смех! На кой мне колечки? Сортиры в колечках мыть? За поросенком ходить? В огороде? Нет, Саня. Не так. Все у меня с тобой было, ты понимаешь? Все! И любовь, и счастье. И радость. И нежность. И мама твоя. Как ведь она ко мне? И к Митьке? За внука считает! Родная бабка, свекровь, про него и не вспомнила, а мама твоя... И Прокофьич. У нас ведь семья, Саня. Семья! Просто жизнь, она такая... Ну, разная у всех, что ли... Только сравнивать ничего не надо и завидовать тоже. У кого-то – так, а у нас... с тобой – по-другому. Может, и лучше, чем у других. А ты мне муж! Все, точка. И сколько отпущено... Мне и тебе – там видно будет!

Молчали. И он все не мог поднять на нее глаза. Трус, слабак. Только и

смог произнести:

– Я понял, Лен. А вообще... Хорошо, что мы с тобой поговорили, а?

Она ничего не ответила, просто погладила его по руке.

Да что тут ответишь? Не надо иногда слов, не надо совсем. И так все понятно. Ну, если близкие люди. Сибирская кровь его Ленка. Совсем не трепло.

## Чтобы я поняла?

Расскажи Богу о своих планах, чтобы он посмеялся. Только решила, что будет счастливой!..

Авария была страшная. Жуткая. То, что он выжил, было из разряда чудес. Так говорили врачи. Чудес было много – то, что авария произошла на «Динамо», а это в трех минутах езды от Боткинской. То, что в травме в тот день задержался заведующий – просто чудом остался до вечера. То, что заведующий был близким знакомым и прекрасным хирургом. То, что в тот вечер дежурила отличная бригада анестезиологов и реаниматологов. Просто так все совпало. Совпало, чтобы он выжил. Чтобы она поняла. Поняла то, что понять следовало гораздо раньше, но, как говорится, что есть, то и есть.

Нет! Благодарить за такую науку – да не дай бог! Просто... Так вышло.

И ничего не было важнее, чтобы он, ее муж, опутанный трубочками, подключенный к мониторам, дышащий через аппарат искусственного легкого, окруженный врачами, просто был жив. Просто остался на этом свете. В любом состоянии, честное слово. Вот здесь она ничуть не кривила душой. Ни минуты. Сидя в больничном коридоре возле реанимации, где лежал ее муж. Ее любимый.

Она сидела на кушетке и молилась. Молитв она не знала – ни одной. Молилась своими словами – старенькая нянечка сказала, что так тоже можно. Господь услышит, если от сердца.

И она просила. Умоляла. Извинялась и требовала. И снова просила. И еще – обещала. Обещала, что дальше, ну, если все будет... Она – никогда. Ни разу и ни на минуту! Не посмеет подумать, что у нее что-то не так. Честное слово!

Потому что стыдно. Неприлично. Ужасно. «Ты дал мне это понять? – прошептала она, подняв глаза к потолку. – Ох, как жестоко! Прости, но очень жестоко! И потом – а при чем тут он? Ну, если я.

Я, а не он?»

Бог услышал ее – или судьба. Муж выжил и даже вышел из этого ужаса с наименьшими потерями. Полгода на костылях – мелочь, подумаешь!

Два месяца она жила рядом в палате. После реанимации. Два месяца ужаса, растерянности, страха и ожиданий. Шестьдесят дней качался маятник – то вправо, то влево. То хуже, то лучше. Два месяца молитв и

надежд. Два месяца горя и счастья – от того, что он рядом и дышит. Открывает глаза. Говорит – сначала помалу, два слова, не больше. Но все равно великое счастье! Ложка бульона, глоток воды, полстакана сока. Кусочек мясного суфле. Половинка творожника. Блюдечко каши.

Пятнадцать минут телевизора – новости. Нет, хватит, устал. Да и что там услышишь хорошего, господи!

Первая улыбка и просьба открыть окно. Первая спокойная ночь – без наркотиков. Первая просьба – почитай мне Толстого. «Анну Каренину».

Теперь очень многое у них было *впервые*. И это было... таким открытием. И таким счастьем, что...

Что просто кошмар думать про то, что должно было случиться, произойти, чтобы она поняла!

Через год с небольшим после аварии им разрешили поехать на море. Отель выбрали на самом берегу, в октябре, ну, чтоб без жары гарантированно. Погода была нежной и тихой – солнце по-осеннему медленно потухало и не докучало. После завтрака они шли на берег, садились в шезлонги и просто смотрели на море. Подолгу молчали. Иногда читали или дремали. Иногда болтали. Так, о чепухе. Строили планы. Мечтали, чтобы дочь наконец вышла замуж и поскорей, поскорей, осчастливила внуками.

– Ты кого хочешь – пацана или девку?

– А мне все равно. Лишь бы был!

«И ты – лишь бы был. Просто был рядом, и все».

Казалось бы – малость!

## Чтобы я понял?

И вся, собственно, жизнь. Сашка прожил еще три года. Тяжело, трудно и – очень счастливо. Иногда приезжал Прокофьич и увозил их на заимку. Естественно, летом. Они лежали на берегу озера, смотрели на воду и подолгу молчали. Если поднимался ветерок, жена тут же начинала тревожиться, вскакивала и укрывала мужа одеялом. Потом доставала из сумки еду – вареное мясо, хлеб, огурцы – и принималась его кормить. После еды Сашка блаженно откидывался на раскладном стуле и закрывал глаза. Засыпал.

Лена шла мыть посуду, протирала ее полотенцем, поправляла под ним подушку и подтыкала одеяло, садилась рядом и смотрела на него, спящего.

Лицо его было спокойным и безмятежным. И как ей казалось – счастливым.

Впрочем, наверное, так и было. Женщины в таких делах ошибаются редко.

Когда касается счастья или речь идет о любви.

## Вечнозеленый Любочкин

Любочкин проснулся среди ночи, открыл глаза и испугался – господи, вот ведь со сна! Забыл, что вчера загремел «под панфары». Уличный фонарь светил желтым светом прямо в глаза, и он сел на кровати, свесив худые, мосластые ноги.

В палате стоял мощный храп. Рулады раздавались со всех сторон и разнились мощностью, «мелодиями» и интервалами.

Пахло лекарством и мокрой мешковиной. Любочкин поморщил нос, нашарил под кроватью тапки, встал, подтянул «семейники» и пошел к двери.

Дверь была приоткрыта, и он выглянул в коридор. В коридоре было темно и тихо, только в конце, у входной двери, мерцала тусклая голубоватая лампочка.

Он постоял, раздумывая, и вдруг почувствовал такой голод, что у него закружилась голова.

Вспомнил – вчера не обедал и даже не ужинал. Утром, дома, съел два яйца и выпил пустого чаю. Сахара в доме не было, а просить у соседа совсем не хотелось.

Он громко сглотнул тягучую слюну и двинулся по коридору. Шел на запах – невнятный, почти неслышный, но все же уловимый голодным человеком.

На двери было написано: «Буфет».

Он толкнул ручку, и дверь открылась. На столе, положив голову на полотенце, спала женщина. По плечам видно – крупная. Она подняла голову, протерла глаза и, увидев Любочкина – в черных трусах по колено, в голубой застиранной майке, в больничных тапках на три размера больше положенного, – рассматривала его пару минут, потом, широко зевнув, хмуро спросила:

– Не спится? Шляются тут... по ночам!

Любочкин потер ногу об ногу, пригладил от смущения свой редкий чубчик и радостно кивнул.

– Не спится, ага! – А потом как можно жалобнее заканючил: – Есть охота! Сутки не ел. Вы уж, уважаемая, простите, но... Нет ли у вас чего?

Женщина что-то пробормотала, опершись руками о стол, тяжело поднялась и подошла к холодильнику.

Вытащила блюдце с кубиками сливочного масла и с полки достала



батон.

– Садись, – приказала она, – есть вот еще печенье.

Любочкин уселся на табуретку, нарезал батон, положил на него масло и попросил:

– А чайку? Не найдется?

Буфетчица снова вздохнула и пошла к титану.

– Найдется. Горе ты луковое!

Чай был совсем не горячий, но сладкий. Любочкин жевал хлеб с маслом и запивал его сладким чаем. Три куска с маслом, три печеньки, и – жизнь хороша!

Он расслабился, прислонился к стене и, погладив себя по тощему брюху, счастливо сказал:

– Хорошо! – И тут же добавил: – Спасибо вам огромное! Сразу видно – хороший вы человек. И женщина добрая.

– Иди уж, – махнула рукой «хороший человек и женщина добрая» и, глянув на часы, добавила: – Иди уж, поспи. Третий час! А в шесть они все... Забегают, загомонят. Не поспишь, – вздохнула она. – Больница!

Он кивнул, прикрыл дверь и поспешил в палату. В палате по-прежнему стоял мощный храп.

«Наелись, – раздраженно подумал Любочкин, – котлет с макаронами – вот и храпят, черти пузатые!»

Покрякивая, он залез под жиденькое одеяло и закрыл глаза. Пару раз зевнул, повернулся на бок, накрылся с головой от назойливого фонаря и уснул.

Николай Любочкин проживал свою жизнь... беззаботно. Смолоду казалось, что весело. А потом вдруг дошло – совсем ведь не весело, а даже очень, можно сказать, грустно: к сорока семи годам – ни семьи, ни кола ни двора. Какое уж тут веселье! Расплата – так обещала его жена Светка. Первая жена. Так и говорила – за все, Любочкин, есть в жизни расплата! Как угрожала. Оказалась права...

В столицу Любочкин заявился давно, лет тридцать назад. Приехал из деревни и стал лимитой. Пахал на заводе, тяжело пахал. Жил в общежитии. Потом надоело, и устроился в жэк. Сантехником. Дали комнату на первом этаже, служебную. Пока пашешь – живи. А уволишься – вон.

На чай давали, кто рубль, а кто трешку – что говорить. Да и халтурки разные – у кого что. Деньги-то были, а вот отложить не умел – что заработал, то и спустил. Пил умеренно, алкашом не был. В кабаки не ходил – стеснялся. И куда они улетали, деньги эти? Да, наверное, не деньги то были – так, деньжонки.

Соседка была хорошая – дворничиха Валида. Хорошая баба, все подкормить его пыталась – пекла хорошо. Татары, они с тестом умеют. То беляшей напечет, то эчпочмаки, то хворост сладкий, то чебуреки.

Веселая – глазами черными сверкает, смеется. Он шутил:

– Пойдешь за меня, Валидка?

А та отвечала:

– Нельзя нам. За своего пойду. Мамка из деревни пришлет – подобрала уже. Пишет – кудрявый! – смеялась Валида.

– Ну и ладно, – миролюбиво соглашался Любочкин. – Жди своего кудрявого!

Корешками, конечно же, обзавелся – тоже из родного жэка. Электрик Краснов и лифтер Кононенко. Все холостые. Как говорил Кононенко – пока! И мечтал, что найдет себе «спутницу» и заживет.

– Человек семейный, – говорил Кононенко, – это уже человек! А так мы – никто. В смысле – без бабы.

– А где ее взять, жену-то? – спрашивал Любочкин. – Ну, такую, как ты говоришь, чтоб надежная!

Кононенко сдвигал светлые брови и отвечал:

– Где? Да где ума хватит – там и ищи!

Скоро женился. Нашел себе под стать – тоже серьезная, крупная, белобрысая. Словно сестра Кононенкина. Повариха в столовой. Ходили они под руку, важные, как два гусака. Жили, по всему, хорошо – Кононенко поддавать перестал и в козла во дворе не стучал. А все ходил встречать свою Зину после работы – понятно, сумки тяжелые, как допереть?

Краснов все вздыхал и Кононенко завидовал – такую бабенку хохол отхватил! Не похудеет!

Краснов все мечтал взять жену из «жилыцов». Из контингента, как говорится. Чтоб сразу с квартирой. Не получалось. Не хотел «контингент» красавца Ваську Краснова, ну хоть ты тресни! Обхаживал одну одинокую, а она потом хлоп – и замуж. Да еще и за дипломата – так говорили.

– Бери по себе, – учил его Кононенко, – а на чужих не заглядывайся. Не твоего поля ягода!

Ан нет, не послушался Вася и все же жену «подобрал». С квартирой. Только жена эта была... На десять лет старше. И с лица такая... Унылая. А все молодилась, за мужем гналась – губищи накрастит, волосья начешет и юбку по пуп. Смешно! Васька идет рядом и глаза от людей отводит – стыдно. А потом загулял. А баба его пить начала – с горя, конечно.

К двадцати шести годам и Любочкин решил – пора! Хорош бобылем. И присмотрел – в соседнем гастрономе. Она на сырах стояла – высокая,

тощенькая, остроносенькая. Волос кудрявый – наверное, с бигуди. Звали Светланой.

Познакомились, то да се, поболтали. Оказалось – своя, деревенская. Из-под Тамбова. Жила в общежитии. Погуляли с полгода – и в загс. Перебралась молодая жена в комнату к мужу, и тут поперла ее родня. То мамаша, прости господи, то сестра. То кума с кумом, то шурин, то деверь. В тонкостях этих Любочкин не разбирался, а вот родня достала – хуже некуда. И весь этот шабаш – на одиннадцати метрах. Своих, почти кровных.

И началась ругань. Светка, жена, хоть и дохлая, а как взревет – как сто паровозов. Не перекричишь, не пытайся. Он ее спрашивает:

– Кто тебе ближе – муж или родня?

А она отвечает:

– Родня! Даже не сомневайся! Муж сегодня один, а завтра другой. А мама с кумой – навсегда.

Ладно, жили. Плохо, но жили. А спустя два года родилась Дашка. Любочкин сам удивился – и как она родилась? В хате всегда балаган, народ под ногами валяется, до сортира не дойти – через головы переступаешь. А вот поди ж ты! Правда, как родилась, родня схлынула. Кому охота не спать? А Дашка была голосистая, в мать. Как заведется – святых выноси. Только теща держалась и под ногами путалась – дочке приехала «подмогнуть». Правда, хоть пожрать в доме было. А Светка совсем с ног валилась, еще похудела, смотреть противно. Мотыга, одно слово. И злющая! Дашка орет, и Светка орет – кто кого перекричит. Стал тогда Любочкин «зависать». То у приятеля случайного, то во дворе. Постучишь с мужиками костяшками – вроде отпустит.

Жили со Светкой как кошка с собакой – только что не дрались. Все ей было не так – денег мало, комната узкая. Любочкин – дурак набитый. Спал теперь он в коридоре – хорошо, хоть Валидка не возражала. Жалела его.

Потом к Валидке приехал жених – тот, кудрявый. И дали им комнату получше и без «такой соседки» – это она про Светку сказала.

Тут Светка совсем ошетибилась и стала Валидкину комнату под себя пробивать. Все справки достала: ребенок-аллергик, она сама – почти инвалид. Мать-старушка и муж пьяница. Письма строчила – до Совета министров дошла. Так всех достала, что комнатку им дали – только б отстала.

Отселила в комнатку маму и Дашку, а Любочкину сказала:

– Вот теперь будем налаживать семейную жизнь.

И так плотоядно облизала губы, что Любочкин вздрогнул и испугался.

Не наладилось. Не смог простить Любочкин Светкиных оскорблений. Развелись. Теперь Любочкин жил в Валидкиной комнате, а теща со Светкой и Дашкой – в его.

Тяжко, конечно, было. Светка – баба стервозная. Хахаля завела и в дом приводить стала. Любочкину вроде и наплевать, а неприятно. Теща на кухне жаркое тушит, запах – по всей квартире! А он пельмени наваривает. Ладно, что делать, переживем. Главное – Дашку против него настраивают. И бабка, и Светка. Папаша, говорят, твой – говно последнее. Ну и так далее. Дашка на него не смотрит – малая, а уже презирает.

Помыкался Любочкин – и снова женился. Теперь искал женщину добрую и веселую – как Валида. Ну, и чтоб готовила, конечно. Наголодался.

Ее звали Раисой. С виду – хорошая. В теле. Он тогда думал, что тощие – злые. Как его Светка. Раиса была степенной, грудастой – видная такая женщина, спокойная. Да еще и с жилплощадью – вот повезло! Хотя, честно говоря, это был пункт не последний. А куда деваться? К себе жену приводить? Чтобы Светка ей патлы повыдергала? Это она обещала: приведешь кого – удушю!

Раиса Петровна была старой девой – ну, так говорили. Всего тридцать два, а уже старая дева. Смешно. Просто женщина серьезная, абы кто ей не нужен. Квартира была у нее однокомнатная. Работала Рая в сберкассе – на коммунальных, как сама говорила. Дело серьезное, деньги.

В доме аккуратистка. Все по полочкам, не придерешься. Носки и те гладила! Совсем смешно. Обед на плите – суп на два дня, второе на каждый. Компот из сухофруктов. Жена!

Сначала Любочкину все нравилось – просто балдел. А потом... Порядок этот... платочки носовые по цвету, тарелочки стопочкой, чашечки в ряд. Подушки на диване – одна сползет, Раиса бросается поправить. Чокнешься. Не орет, а спокойненько так: «Николай! Опять плохо вымыта чашка!» Или так: «Николай! Ящик для грязных носков – на балконе. В ванной – негигиенично».

«Негигиенично» – любимое слово! Вроде бы что человеку надо? Рубашки поглажены, носки тоже. Компот. Белье аж скрипит, поворачиваешься – тело колет, так накрахмалено.

В субботу – по магазинам, под ручку. А там – по списку. Масло – столько-то, кура, картошка. Яблоки – чтоб желудок работал. Полезно. Сироп из шиповника – утром ложка, на ночь – медок. Для спокойного сна. И еще была у нее одна страсть. Одно, так сказать, хобби. Раиса вязала. Но не из ниток, нет. Из чулок. Из старых чулок вязала мочалки. Длинные косы.

А потом всем дарила. А однажды он углядел, что эту мочалку она вынимает из своей башни – той, что крутила на голове. Вынула ее, эту чулочную косу, и в комод положила. Он комод приоткрыл, и его чуть не вырвало.

И такая тоска... Глаза на Раису не смотрят. А она – про супружеский долг. Два раза в неделю – по расписанию. Среда и суббота. Тут он взорвался:

– Какое там, Рая, расписание? А если устал, допустим, вот в среду? Или хочу в понедельник? Желание вдруг появилось?

Возражал. Спорил. Сопровитвлялся. Снова стал зависеть у дружков. Жаловаться. Не складывается, мол. Никак не идет. Такие дела. Опять спешил на «козла» во дворе и в преферанс.

А она, благоверная, губки подожмет и говорит ему со вздохом:

– Зеленый ты помидор, Любочкин! Упал с ветки и в траву закатился. Вечнозеленый. И никогда уже не созреешь. Потому что нету в тебе сознательности. И благодарности нету. Я тебе – и то, и се. Другой бы молился! Что женщину порядочную на жизненном кривоватом пути своем встретил. А ты – все туда же. Пивко, картишки, дружки. Грустно мне на тебя смотреть, Коля. Грустно и больно. Обидно даже!

– А вы не грустите и не обижайтесь, – отвечал Любочкин, переходя с ней почему-то на «вы».

Тогда она садилась у окна и принималась плакать. А плакала она странно – как курица клехтала. Кудахтала так. И булькала еще. Смешно, хоть удавись...

Не было жизни, опять не было... А однажды она заявила:

– Давай, Коля, заведем ребенка. Ну, для сплочения, так сказать, семейной жизни.

– Заводят котят, – огрызнулся Любочкин.

И как представил... Мама дорогая! Совсем помешается – пеленки в ведре кипятить, проглаживать, какашки детские нюхать. Вопли опять, скандалы... Не, не пойдет. Сваливать надо!

Курил на балконе и думал: «Вот жизнь! Хорошая вроде женщина. Порядочная. Положительная, можно сказать, во всех смыслах. Хозяйственная, чистоплотная. Готовит вкусно. Не скандальная, вроде Светки, спокойная. С жилплощадью опять же. А жизни-то нет! Нет жизни – вот хоть убейся. И любви тоже нет. Может быть, все дело в этом?»

Может, бог его наказал, что по расчету? Так ведь не по расчету – по трезвой, как говорится, голове. С умом ведь женился. А толку? Подошел к кровати – спит. Спокойно, руки сложила на пышной груди, косица лежит на

плече. Лоб и нос от крема блестят. Ночнушка вся в кружеве. И дышит спокойно и ровно. Совесть у человека чистая. Не то что у него, у Любочкина. Не совесть, а рана глубокая.

«Сваливать надо, – с тоской подумал он, – а куда? К Светке и Дашке? Не пустят. Да и самому туда – уж лучше в могилу».

Лег с краю, и вдруг затошнило. От всего. И от жизни этой... Семейной. В первую очередь.

Ушел он от Раи. Ушел. Кантовался у Васьки Краснова – тот свою благоверную в ЛТП пристроил на месяц. Совсем, говорит, допилась. У баб это быстро. А Васька в загуле: шляется с молодыми – совсем сикухи, по семнадцать лет. Веселые, шустрые, языкатые. В парк Горького ездят – качели, карусели, мороженое, шашлычок под пиво.

– Давай с нами! – предложил Васька. – Хоть оторвешься от своей зануды, расслабишься!

А поехали! Что уж терять! Поехали. Качели-карусели... Эх, жизнь!

У парка стайка девчонок – три штуки, и все Васькины. В смысле – подружки. Одна – зазноба. Красивая. Женей зовут. Идет прямо, смотрит перед собой. А Васька кругами, кругами. Еще бы – такая краля! А две другие – тоже ничего себе. Симпатичные. Поля и Оля. В училище на портних учатся.

Любочкин грустить перестал и на Олю заглядывается – всегда ему нравились беленькие. Поля заметила и Оле в ухо дует. Что говорит, не слышно. Может, отговаривает?

После каруселей и американских горок пошли в шашлычную. Себе – пиво, девчонкам – белого винца. Ну и шашлычка, разумеется. С томатным соусом. Девчонки выпили, порозовели. Даже строгая Женя вроде как подобрела. Руку свою из красновской не вынимает и тоже хихикает. Потом взяли лодки и стали кататься. Поля сидит хмурая – ясно, в пролете. А Оля веселая – Любочкин анекдотами сыпет, а она ухохатывается.

Васька шепнул:

– Иди погуляй. Я с Женькой домой. Быстро управлюсь – у нее родители строгие, к одиннадцати надо быть дома.

Пришлось провожать Олю-Полю. Сначала Полю, потом Олю. Долго стояли у подъезда и про жизнь разговаривали. Оля жила с бабулей – родители зарабатывали на БАМе. Про свои женитьбы и дочку Любочкин не сказал – испугался. Потому что влюбился. Это он понял тогда же, у подъезда. Сразу причем понял. Четко и сразу. Потому что так у него еще не было. До такой вот степени!

Потом эту Олю он называл по фамилии – не в лицо, конечно. От злости – Мелентьева. Сколько горя она ему принесла, сколько страданий! Вспоминать страшно. Вертела им, крутила. Короче – измывалась. То приблизит к себе, то оттолкнет. И при этом еще и унизит. А он был готов... Да на все! Скажи ему прыгнуть с двенадцатого этажа – не задумается. Дурак. Все понимал, а поделаться с собой ничего не мог. И разве это – любовь?

Васька однажды сказал:

– Ты это... на Мелентьеву эту... Не очень.

– В смысле? – не понял Любочкин.

– Да хахаль у нее есть, – с неохотой промолвил Краснов. – Женька сказала. Она, твоя Ольга, так и сказала: «Я от него прям сознание теряю». В смысле – от хахалы. Это как, Коль? Что это значит?

И Васька в упор уставился на него.

Любочкин пожал плечами.

– Здоровьем, наверное, слабая, – неуверенно сказал он, – вот и теряет.

Но Краснов вдруг засомневался.

– Или – сильная. Ты вот как думаешь?

Еще проболталась Женька, что хахаль мелентьевский жениться на ней не думает, хоть и «ходят» они уже года три. Какой-то спортсмен, что ли. Хоккеист, то ли футболист. И еще – бабник отпетый. А эта дура... Даже вены себе пыталась резать – такая любовь. Короче, валить от нее надо, и побыстрее!

И Любочкин решил: пошлет ее куда подальше!

Только собрался, а она к нему ластится:

– Коля-Николай, Колокольчик, Колюнчик.

Кто ж это выдержит? Опять закрутило. А спустя месяц:

– Пошел ты, Коля, к черту! Видеть твою унылую морду противно.

Видно, опять хоккеист прорезался. Гад. А через месяц опять:

– Колокольчик! Куда ты пропал?

Блин. Собрался он с силами и говорит:

– Знаешь, Ольга, хватит! Нет моих сил это терпеть. Выбирай: или он, или я. Хочешь – в загс, хочешь – ребеночка родим!

Как он хотел от Мелентьевой ребенка! Маленького, беленького – как сама Мелентьева.

А она ему в лицо:

– От тебя, Любочкин? Да ты что, издеваешься? Ни кола, ни двора. Нищета и плебей! Ребеночка захотел! А что ты собой представляешь, чтоб от тебя ребеночка рожать? И кто от тебя получится? Такой же лох

педальный, как ты сам?

Опять унижала... Стерва. А личико ангельское! Носик курносый, ямочки на щеках, глазки голубые, наивные... А как рот откроет – почище бывшей супруги Светланы. Как мегера становится, как овчарка цепная.

И опять его мурыжит – то приходи, Колясик, то пошел вон, идиот!

Он уходил и давал себе слово – никогда! Никогда больше не купится он на эти ямочки и на эти глазки. Все, хорош. К телефону не подходил, когда она звонила. Один день. А на второй трубку схватил, точно пожарный шланг при пожаре.

Краснов сделал вывод – приворожила! Посидели, подумали, пивка попили и решили – точно. Приворожила. А как по-другому? Если все про женщину понимаешь, а отлепиться никак не можешь? Нет никаких сил от нее отлепиться!

Стали искать знахарку. Васька сказал, что такая бабка была, и жила она в соседнем селе, откуда сам Васька родом. Поехали.

Ехали в поезде, и Любочкин смотрел в окно. Перелески, поселки, шлагбаумы. Редкие машины и переезды, мужики на телегах. Бабы в ватниках ковыряются в огородах. Пацаны на великах. В окошках свет зажигается, дым из труб валит. Короче, жизнь. А у него, у Николая Любочкина, одна лишь душевная мука.

Бабка-знахарка оказалась жива – обрадовались. Столетняя, в валенках по избе ковыляет и мутным глазом посматривает.

Достала грязную банку, булькнула туда из бутылки водой и зашептала, чего – не поймешь. Они с Васькой сидят и не дышат. Страшно. Чистая ведьма косматая. Дула, дула, а потом прошамкала:

– Пришкварило тебя к поганой бабе. – И ржет, зубом кривым хвалится. А то он и сам не знает! Спрашивает:

– А делать-то что?

За советом приехали, а не на «красоту» ее любоваться!

– Воду, – говорит, – тебе дам. Заговоренную. И еще «почитаю».

Ладно, поверим. Вышли на улицу, закурили. Молчали – болтать неохота. А через час бабка выходит и бутылку воды выносит.

– Пей, – говорит, – по глоточку три раза в день.

Любочкин кивнул, а Васька полубопытствовал:

– Ну, что? «Почитала»?

Бабка прищурилась и кивнула – а как же!

– Поможет? – засомневался Краснов.

Ведьма ему не ответила, глянула на Любочкина и сказала:

– Десятка с тебя.



С тем и ушли. А вода в бутылке мутная, грязная. Да и бутылка сама... Как из хлева. Противно.

Открыли, понюхали – вроде не пахнет. Вода и вода.

– Пей! – серьезно сказал Краснов. – Она, эта ведьма, человек в округе известный.

– Авторитетная ведьма, – засмеялся Любочкин.

А на душе все равно погано. Тошно на душе, муторно. И опять такая тоска... По этой Оле Мелентьевой, чтоб ее...

Воду он пил и все к себе прислушивался – тянет его к Мелентьевой или не тянет.

Вроде полегче стало. Да и она не звонит. Думал, уже отпустило, как встретил ее у метро. Идет бледная, синяки под глазами.

Остановились.

– Болеешь? – спросил.

Она только хмыкнула.

– А тебе что за дело? Ну, болею. И что? Ты у нас кто, доктор? Вылечишь, может? Ты у нас слесарь, Коля. Водопроводчик. Сантехник – вот ты у нас кто. И лечи ты свои унитазы!

Сказала как плюнула. Стерва! Развернулась и пошла.

– А ты-то у нас кто? – крикнул он вслед. – Может, актриса? Или балерина, может? Ты у нас портниха, вот кто! Недалеко ушла! – И он плюнул себе под ноги.

Опять унизила. Вот ведь язык! Так разозлился, что показалось тогда – все. Разлюбил. А спустя месяц Васька сказал, что Мелентьева ходит беременная.

Ох, и опять его закрутило! Может, ребеночек от него? А не от футболиста этого? И где футболист? Почему не женится? Спать по ночам перестал – так волновался. Подкараулил ее у подъезда и прямо в лоб – так, мол, и так, говори, как на исповеди – чье дитя? Если мое – идем в загс.

– А если не твое? – сощурила глаза Мелентьева. – Тогда – куда?

Он растерялся, смутился и выдавил:

– Тогда... Тоже – в загс. Чего безотцовщину-то плодить?

– Да пошел ты! – прошипела она и оттолкнула его рукой. – Дай пройти, репейник!

А ему жалко ее до слез. Так жалко, что готов все простить!

До чего дошел – залез однажды к ней на балкон. По водосточной трубе. А между прочим, третий этаж. Смотрит в окно, а она сидит и плачет. Постучался. Она его увидела и от злости вся побелела.

– Чего приперся?

Он ей жалобно:

– Выходи за меня, Оль! Будем вместе детенка растить. Я тебе хорошим мужем буду, честное слово!

А в ответ:

– Да лучше одной, чем с тобой. Иди отсюда!

– Я счас прыгну, – пообещал он и посмотрел вниз.

– А прыгай! – сказала она. – Никто не заплачет.

И он заплакал. Да так горько, как баба. А она окно захлопнула и шторку задвинула.

Вот такая любовь. Такие дела...

Женька говорила, что хоккеист-футболист жениться не хочет и ребеночка признавать тоже.

Страдал Любочкин. Не из-за себя, из-за нее, дурехи. Жалел. И понял тогда, что любовь и есть жалость. Такие вот выводы сделал из своего несчастья.

Из-за угла на нее посматривал – грустная идет, понурая. Голова книзу, на мир окружающий смотреть неохота. А пузо растет.

«Ничего, – думал, – родит, и уговорю!»

Не уговорил. Родила Мелентьева и по двору с коляской мотается. А он – как двое из ларца, только один, раз – и перед ее очами возник. В руках подарочки – погремушка малому, яблоки – ему же, говорят, полезно. Зефир в шоколаде. Это – красавице своей, жизнь подсластить. Может, добрее станет?

А она на него не смотрит.

– Чего пришел? – цедит сквозь зубы. – Звали тебя?

А он все в коляску заглядывает – на кого похож ребеночек? Не на него?

Видит – носик курносый, волосики белые. Ничего не поймешь! И у него курносый, и волосы светлые – были. Мамка так говорила: «Ты до пяти лет был льяной».

Подарки его Мелентьева отвергала.

– Ничего нам от тебя не надо! И вообще – сгинь!

А однажды увидел ее с фингалом под глазом и понял – спортсмен объявился. Кранты.

– И надо тебе такое? – кивнул на фингал.

– А что такое любовь, знаешь? – тихо спросила она.

Любочкин грустно кивнул.

– Знаю, Оль. Могу тебе рассказать.

И она тут печально и в первый раз жалостно, по-человечески:

– Уходи, Коля! И больше не приходи. Ничего у нас с тобой не

получится.

Вот тогда до него и дошло – ничего. И еще – никогда.

И больше он к Мелентьевой не ходил. Проявил, так сказать, силу характера.

А Женька рассказывала, что спортсмен к ней заселился, так как стал поддавать и из спорта его попросили. Сидит дома и квасит. Живут на бабкину пенсию, и Мелентьева моет подъезд. Точнее – четыре. Такие дела. Каждый кузнец своего счастья.

А вот Любочкин на своем счастье тогда поставил окончательный крест. В жизни разочаровался, в любви и, так сказать, в женщинах.

Устроился на ткацкую фабрику наладчиком станков, и дали ему комнату в общежитии. Комната хорошая, сосед всего один, да и тот ночует на другом этаже – там у него зазноба.

Вроде все тихо. А жить неохота... Потому что совсем пустая вся эта жизнь. Совсем одинокая...

А тут подоспела беда – упал Любочкин на дороге, потерял сознание. Помнит только, что голова закружилась и в груди горячо стало, будто кипятка со всей дури плеснули. Слышал, как сквозь туман, что люди возле него останавливались, наклонялись и «Скорую» вызывали. Предполагали, что пьяный. А он – как стекло.

Так и загремел в больничку – в первый раз в жизни.

Утром началась суeta – забегали медсестры, кому укол, кому капельница. Потом зашли врачи – строгие и молчаливые, никому ни слова, только шепчутся между собой, словно все тут уже покойники и нельзя нарушать тишину.

Любочкину назначили кардиограмму и уколы. Он лежал тихий, испуганный и голодный. Жрать хотелось. «Значит, не помру, – решил он, – никакой тяжелой болезни у меня нет». Чуть повеселел.

Обед разносила Галя – та, что ночью его пожалела.

Кивнула ему.

– Ну, как дела?

– Нормальненько! – бодро ответил он. А сердце заныло. От тоски заныло.

После обеда уснул – пропади все пропадом! Будем живы – не помрем. Так вот решил.

А вечером стали приходить родственники и знакомые. К соседям, разумеется. К пузатому и лысому пришла жена – лицо длинное, как у лошади, и скорбное, словно не в больницу пришла, а в морг попрощаться.

Банок навезла, термосов – море. Лысый сел, нюхает и морду кривит – не хочу. То не хочу, это не буду. А она его уговаривает:

– Поешь, Вовчик! Это же витамины. Яблочко тертое, компотик сливовый. Котлетки из курочки, капуста цветная.

А Вовчик капризничает.

К молодому Сереге пришла девица – задница обтянута так, что вот-вот брюки треснут, и морда размалевана, как у американских индейцев. Но ничего, симпатичная. Гостинцы захватила – апельсины и вафли. На большее не сподобилась. А Серега жрет и нахваливает. И еще – за задницу ее щиплет. Веселятся, короче. Ржут как кони.

И к Петру Петровичу тоже пришли – дочь с зятем. Дочь заботливая:

– Поешь, папа, пока теплое. Оладушки, кисель клюквенный, творожок. Сама делала.

Зять к нему с уважением:

– Дядь Петь, ну ты как?

И про дачу рассказывают – что выросло, а что нет. А Петрович волнуется, советы дает. Там купоросу залить, там золой присыпать. С картошки жуков обобрать.

Как будто сдохнут без этой картошки. Она в магазине – копейки. Садоводы-любители, блин!

А к Любочкину никто не пришел. Некому к Любочкину прийти, вот в чем дело! Даже дружок закадычный Краснов из столицы смылся.

Отвернулся Любочкин к стене, и плакать охота от одиночества.

Всю ночь не спал – думал. Как же так сложилось? Жизнь вспоминал. Женщин своих. Светку, Раису, Мелентьеву. Дочку свою Дарью Николаевну. Мальчика Федю, сына Мелентьевой. А может, и его сына, кто знает?

И понял одно – никого у него в этой жизни нет. И никто к нему не придет – ни с котлетками куриными, ни с вафлями, ни с киселем.

Потому что профукал Николай Любочкин свою жизнь. Бездарно профукал. Женился не на тех и не тех любил. Вот и валяйся теперь на казенной койке и жри баланду больничную. Сам виноват.

Галина Смирнова медленно шла по дороге к метро. Медленно, как старуха. Смотрела под ноги – дорога была, как всегда, разбита. Не дай бог упасть. Не дай бог сломать что-нибудь. Некому ухаживать за Галиной Михалной, некому. Сын неплохой, но где этот сын? У него семья, дочка. Да и живет далеко и непросто. Хотя кому сейчас просто? Время такое. Сложное. Хотя если вспомнить... А было ли время попроще? Ну, только в далекой молодости, да и то – так недолго. Мама работала на обувном

предприятии. Отец – на автомобильном заводе. Жили в бараке в Раменском. Вечный сквозняк и скандалы соседей. Отец пьяницей не был, а погиб очень рано – поехали в деревню к родне, выпили, закусили и пошли на речку. А брат отцовский, алкаш, стал тонуть. Бросился отец его спасать и потонул. Братца, пьянчугу, вытянул, а сам... Говорили, сердце. Такой молодой и – сердце... Похоронили его в деревне и вернулись в Москву. Мать говорила Гале:

– Учись! Учись, а то будешь всю жизнь у станка.

И показывала на свои ноги. А ноги были как тумбы – красные и распухшие.

Галя решила, что пойдет на учителя. Учителю всегда уважение и почет. В девятом классе влюбилась. В Сашу Павлова. Он неказистый был, но самый умный из пацанов. Говорил:

– Веришь, Галка, профессором стану!

Она верила. Чего б ему и не стать? Умный, да и семья хорошая.

Попала она однажды к нему. Квартира красивая, мебель, ковер на полу, книги на полках. Побоялась ступить на ковер и обошла его краем. А мамаша Сашкина вдруг засмеялась.

– Ковер, деточка, положен, чтоб на него ступали. А вовсе не для красоты!

Галя смутилась и что-то пролепетала: дескать, коврам хорошо на стене... Мама вот говорила: накопим – и на стену. Вот красота!

Мамаша Сашкина усмехнулась и предложила им чаю. Сели пить чай с тортом. Галя подумала – торт в будний день! Просто так, не день рождения, не Первомай, не Октябрьские.

Она всегда заглядывалась на витрины, где стояли пышные, разукрашенные, разноцветные торты. И больше всего ей хотелось цукатов, что украшали торт сверху, или желе с застывшими фруктами.

Сашкина мать расспрашивала Галю про семью и родителей. Сашка вздыхал и мать останавливал. А та отмахивалась от него, как от мухи, и говорила:

– Ну, любопытно же, с кем мой сын дружит!

Галя отвечала скупой и неохотной. Мама – на фабрике, отец... Утонул.

– Понятно. – Сашкина мать прищурила глаз и, вздохнув, повторила: – Теперь все понятно!

Галя встала и пошла в коридор. Надевая пальто, громко крикнула:

– Спасибо за чай! И за торт – особенно!

Выскочила на лестницу и там разревелась. Сашка выскочил следом и стал ее утешать.

Даже обнял. А она вырвалась и бросилась прочь. Всю ночь проплакала. Почему – самой непонятно. Ведь ничем ее не обидели, чаю налили, торт поставили. А она чувствовала, что ее еще ни разу так не унижали. Ни разу в жизни.

Сашка пытался мириться и все приговаривал:

– Вот на что ты обиделась? Я не пойму!

А когда она ему зло бросила:

– Да пошел ты! – он покраснел и сказал:

– А мама права! Ты еще и норовистая. У бедных особенная гордость, да, Степанова?

А мама Галина сказала, что и слава богу! Брать надо по себе. Куда со свиным рылом в калашный ряд? Сожрали бы они тебя с потрохами, и все дела. Ищи по себе!

Нашла. Очень скоро, через полгода. Гришка Смирнов был соседом по бараку. Пришел из армии и «подцепил» малолетку, как сам говорил. Галя была тогда хорошенькая – русая коса, голубые глаза. Талия тонкая, ноги легкие... И куда все делось? Да еще и так быстро...

Школу она закончила, а в техникум поступить не успела. Залетела. Дура. Ох, мать тогда убивалась!

Гришка не отказался, и сыграли свадьбу. Столы накрыли в общем коридоре – сколотили лавки, чтобы все уместились. Свадьбу Галя помнила плохо – лампочки в коридоре были тусклые, все быстро напились, и начался гвалт и выяснение отношений. Ее сильно мучило, и на еду она смотреть не могла. Очень хотелось лечь и накрыть голову подушкой – чтобы не слышать все это и не видеть.

Гришка пришел под утро – злой как собака. Ткнул ее в бок.

– Подвинься! Корова.

Лег и захрапел, дыша ей в лицо перегаром и кислой капустой.

Жизнь не заладилась с первого дня. Муж выпивал, шляется по соседям и смотрел на нее пустыми и ненавидящими глазами.

Когда родился Петька, ничего не изменилось. Только бараки стали ломать и давать квартиры. Дали и им – двухкомнатную, большую и светлую, и это была радость. Зарплату Гришка не отдавал, и вскоре Галя узнала, что у него есть зазноба.

– Уходи! – умоляла она. – Ну зачем мы тебе? Ты ведь нас ненавидишь.

– Ненавижу, – хмуро кивал Гришка и добавлял: – Тебя и твою мамашу. А сына – люблю! И его не оставлю. Точка.

Только в чем эта любовь заключалась, понять было сложно. Потом стал грозиться, что квартиру он разменяет – прописан, и получали на всех.

Мама сказала:

– Терпи. Квартиру ему не отдам. Да и куда мы поедem? Опять в коммуналку?

Но бог не Тимошка, видит немножко. Помер Гришка. Замерз в сугробе и помер. Грех говорить, а отмучились...

Вроде и стало полегче, а счастья все не было. Учиться уже было поздно, и Галя пошла санитаркой в больницу. Надо было поднимать сына.

Больше всего боялась она Гришкиных генов – только бы парень не запил! Богу молилась, в церковь ходила. Только не это! Готова была принять любую кару, любое испытание...

Услышал боженька: Петька рос строгим, серьезным, молчаливым – слова не выпросишь, но по компашкам не шлялся, после армии пошел работать и сразу женился.

Жить уехали к его жене в Подмосковье. Свой дом, огород. Девочка была неплохая, и вот сейчас бы зажить Гале! А «зажить» все не получалось! Ну никак...

В свои сорок пять она чувствовала себя пенсионеркой. Вернее, о пенсии только мечтала. Скорей бы, скорей! Сидеть дома, смотреть телевизор – «Поле чудес» или там сериалы. Вон их сколько – по всем каналам!

Маму похоронила – свободы теперь было столько... Что задыхалась она от этой свободы! Откроешь входную дверь – а там тишина! Да такая, что слышно, как муха чешется... Разденется, чайник поставит, халат наденет, сядет за стол и – хоть вой! Так тоскливо...

Из санитарок ее перевели в буфетчицы – привезти с кухни обед, нарезать хлеб, налить ряженки или компота, раздать, собрать, вымыть тарелки и ложки. Завтрак, обед, ужин. На ночь – кефир. Два через два. Тихо, спокойно, сытно. Домой можно взять, что осталось – хлеба, кефира, яблок, что больные не съели. Были такие, что ели домашнее и отказывались от яиц и от сыра. Тогда забирала и это – чего добру пропадать? Все равно – в ведро, в помойку.

Жила она тихо и грустно. Сын приезжал нечасто, но привозил внучку, и это была большая радость. В отпуск она ездила к сыну – копалась в огороде, ходила на речку. Иногда ездила в деревню, к отцовской родне – на папину могилку. Мечтала съездить в Питер – дня на три или больше. Прокатиться на катерке по каналам, посмотреть дворцы. Копила на шубу – мутоновую, блестящую. Работу свою она не то чтоб любила... Но женщиной она была доброй, и если случалось помочь – бабушке одинокой

или кому еще, – радовалась. Знала, что за зверь одиночество, как никто знала...

Любочкин целыми днями лежал на кровати и смотрел в потолок. Жить не хотелось. Совсем. Окончательно понял, что не жизнь у него, а прозябание. Ни родни, ни друзей – никого. Васька Краснов пропал с горизонта – уехал к какой-то бабенке в Ростов и хату свою сдал, сказал, что жить будет там королем и работать не надо.

Кононенко однажды он встретил. Идут как два холодильника – большие, важные. Гусаки откормленные. Оба в огромных норковых шапках – чисто папахи. Воркуют. Важно сказали, что купили машину и дачу. На него, Любочкина, посмотрели как солдаты на вошь. Без уважения. Ну, это понятно – он для них – шваль, а не человек. Ни добра не нажил, ни семьи.

Он посмотрел им вслед и понял, что появилась на сердце зависть. Сам удивился – кому завидовать? Кононкам? А зависть была...

Сестра делала ему уколы, а он и не спрашивал – что за уколы, от чего его лечат? Все по барабану – залечат, и славно. Чего зря небо коптить? Ничего он хорошего никому не сделал, да и ему никто и ничего. Наверное, в ответ. Что посеешь, как говорится...

Кононенки жили правильно. Васька Краснов жил весело. А он, Любочкин? А он жил *никак*. Ни зла от него, ни добра. Хотя зло, наверное, было...

Обед разносила высокая тетка с густыми усами.

– А эта... Где? Беленькая? – тихо спросил Любочкин. – Ну, та, что вчера?

Усатая усмехнулась.

– Галка Смирнова? Да послезавтра будет. Мы ж два через два. А что, понравилась? – засмеялась усатая.

– Да ладно, – смущенно буркнул Любочкин, – какое «понравилась»... Просто спросил.

Вечером опять повалила родня. К Володьке жена с лошадиной и скучной физией – опять с банками и лоточками. Опять уговаривала: «Поешь, Вова, творожники, поешь холодца...»

А Вова опять кривил морду и был недоволен. Потом подошла его дочка. Копия Вовы – тоже с «мордашкой». Губки кривит и медицину поносит. Лечат не так и вообще – коновалы. Все рвалась с врачом разобраться. А не повезло – врачи давно по домам. Ей не повезло, а вот им – очень. Свяжись с этой... цацей. Не оберешься.



К Сереге снова пришла его жопастьенькая. Снова веселая и с апельсинами. «Лучше бы пожрать принесла», – хмыкнул Любочкин.

Молодая, что понимает. Села на кровать, и воркуют как голуби.

К деду пришла супружница – так он называл свою жену. Женщина пожилая, приветливая. Гладила его по голове, а он ее держал за ручку...

Видно было – прожили они хорошо, и женой он своей гордится. Называет по отчеству – Зоя Платоновна.

А позже прискакала и внучка – хорошая девка, веселая. Пирожков принесла и мороженого. На всех.

Любочкину хотелось особенно пирожков, но он отказался. Сказал, что сыт. Неловко было. Отчего-то неловко. Вроде как его жалеют. Никто к нему не приходит.

Вечером зашла дежурная врачиха – молодая, красивая, строгая.

– А вас, Любочкин, здоровье ваше не интересует?

Он невежливо молчал.

– Диагноз, анализы? Кардиограмма?

Любочкин мотнул головой.

– Какая разница? Семи смертям не бывать, а одной не миновать...

– Неправильное отношение к жизни! – возмутилась врачиха. – Как это – какая разница? Вы ведь еще совсем молодой мужчина!

– Молодой, – хмыкнул Любочкин, – просто малец... Пожил, и хватит. Что нам жизнь – копейка!

Врачиха осуждающе покачала головой.

– Надо вам психолога. Для поддержания духа. Пришлю. В понедельник, – строго пообещала она.

– Себе присылай, – тихо буркнул ей вслед Любочкин, – для поддержания.

Ночью снова не спал. Ворочался, метался, как температурный. Потрогал лоб – холодный. Встал, пошел в коридор.

Дошел до буфетной – заперто. Постоял у окна. Темно и тихо. Больница спит – словно замерло все до рассвета, как в песне поется. Все спят. У кого совесть чиста. А некоторым не спится. Выходит, что заслужили.

Утром пошел в душевую, а сестра на посту как гаркнет, да на весь коридор:

– Больной! Вы почему в трусах? И не стыдно? Положено в тренировочных! Или в пижаме! Здесь, между прочим, женщины. Вам что, из дома принести не могут?

– Это ты – женщина? – схамил Любочкин. – Сомневаюсь я как-то.

А нечего на все отделение орать и человека позорить! Нет у него ни

треников, ни пижамы. И даже сменных трусов, пардон, нет. Как взяли на улице, верхнее все отобрали, и лежит в том, что есть. А она – орать.

Не могут ему принести из дома. Не могут. Потому что дома у него нет. И еще нет того, кому может он позвонить. Вот тебе жизненный итог, Любочкин! Как прожил, то и имеешь. А стыдно ведь перед людьми... Кому сказать...

Вышел из душа, посидел на кровати – и решился. Храбрости – хоть отбавляй. Телефон в коридоре бесплатный. Народу никого – как специально.

Снял трубку, подумал и набрал по памяти – память у него всегда была отменная.

Трубку взяла бывшая – Светка.

– Кто? Любочкин? С какого ты света явился? В больнице? А мне-то какое дело? Пижамы? Мочалка? Мыло? Да пошел ты, Любочкин, в лес погулять! Это с какой я-то стати? А где ты был все эти годы? Дочь твоя замужем, внуку два года. Ты хоть одним ухом про это слыхал? Рад? Ну и радуйся. И еще – лечи свою голову, ну, раз уж в больнице!

Отбой. Любочкин разозлился и снова набрал Светкин номер.

– Дочь позови! – жестко сказал он. – Дарью!

Светка тяжело вздохнула и крикнула:

– Дашка! Трубку возьми! Папаша твой объявился. Хренов.

Дочь долго не подходила, а потом он услышал недовольное:

– Алло!

– Даша, доченька, – залепетал растерянный Любочкин, – я вот... в больнице. Говорят, сердце. Ты не могла бы...

– Нет, – оборвала его дочь. – Не могла.

Помолчали с минуту.

– Ты ж моя дочь! – с обидой сказал Любочкин. – И что я тебе... Плохого?

– А хорошего? – жестко ответила Дарья. – Вот напрягусь – не припомню! Ладно, заканчивай. Ты меня не разжалобишь. – И со всхлипом добавила: – А ты? Ко мне в роддом пришел? Или вообще – пришел? Хоть когда? На выпускной? Или на день рождения? – Она снова всхлипнула и бросила трубку.

Любочкин сел на корточки и уставился на батарею, что стояла ровно напротив.

К автомату подошел мужик в махровом халате и с удивлением посмотрел на Любочкина. Любочкин встал и отошел к окну.

Мужик болтал долго, отвернувшись к стене и прикрывая трубку рукой.

Любочкин вдруг оживился и стал поглядывать на него с нетерпением и покрывавать – мол, сколько можно? Пользуются тем, что бесплатно!

Наконец мужик наговорился и пошел по коридору к палате.

Любочкин схватил трубку и быстро набрал номер.

– Рая! – почему-то обрадовался он. – Рая, привет! Это я, Коля. Николай. Как ты там, Рая? Здорова?

Она начала что-то ему про себя, но он нетерпеливо ее перебил:

– А я вот в больнице, Рая. Говорят, неполадки с сердцем. Лежу тут... В гордом, можно сказать, одиночестве.

Жаловался Любочкин: не приходит никто. Треники принести некому.

– Может, подъедешь, а, Рай? Привезешь? С сердцем проблемы, – повторил он, – в кардиологии я!

Потом замолчал, растерянно слушая собеседницу, и сумел только вымолвить:

– Как при чем тут кардиология? Нет никакого сердца? Почему нет сердца? Что ты несешь? Какие обиды, Рая? Смертельные? Господи, ты щас о чем? Сволочь? Ну, ладно, как скажешь... И тебе не хворать... – тихо закончил он и положил трубку.

Снова присел на корточки и снова уставился на батарею. «Такие дела», – подумал он.

И добавил вслух:

– Хреновые...

Он уже пошел было к палате, как вдруг еще одна шальная мысль пришла ему в голову.

Он бросился к телефону и набрал номер Ольги Мелентьевой. Главной беды его жизни.

Трубку взял подросток со звонким, ломающимся голосом.

– Мам! – крикнул он в глубину квартиры. – Тебя! Какой-то мужик.

Он услышал ворчание Ольги и тут же ее недовольный голос:

– Кто? – переспросила она. – Любочкин, ты? Ну, и какого рожна? А, заболел! Ну, поправляйся! Приехать к тебе? Пижаму? Ты что, оборзел? Какая пижама, какое приехать? У меня своя жизнь, Любочкин. И ты не имеешь к ней ни малейшего отношения. Понял? Если по-человечески? Ты в психиатрическом, что ли?

Любочкин медленно положил тяжелую, мокрую от его вспотевших ладоней трубку и заплакал.

Первый день дома – в перерыв между сменами – Галина балдела: не надо вставать в пять утра, биться боками об углы, протирая сонные глаза и

постоянно охая вслух. Вставала она тяжело – всегда, с первого класса. Потом она торопливо пила чай и вскрикивала, посмотрев на часы, – опять проковырялась, какая же она куконя!

Одним движением проводила кисточкой по ресницам, поспешно и неровно мазнув помадой по губам, говорила:

– Достаточно. И так сойдет. – И грустно добавляла: – Да кому я нужна?

В прихожей, натягивая пальто или плащ, поглядывала на себя в зеркало. И опять тяжело вздыхала – полная, раскисшая тетка с плохо покрашенными и отросшими светлыми волосами, морщинами под усталыми глазами и недовольно поджатыми, скорбными губами. Вечная печаль на лице, вечная озабоченность. Глаза потухшие, уголки губ опустились...

А ведь всего сорок пять! И где там про ягодку? Где? Помятая слива, подгнившее яблоко... Сморщенный апельсин.

Нет, первый день был хорош и спокоен – и снова мечталось о пенсии. Она валялась на диване, иногда проходила по квартире с тряпкой в руках – и снова ложилась: а пошло все к чертям! Кому нужна вся эта чистота, этот порядок... Никому. И ей в том числе. Смотрела по телевизору все подряд – новости, сериалы, ток-шоу. Пила чай, грызла яблоко. К вечеру, побрякивая, вставала и шла на кухню. Открывала дверцу холодильника и долго смотрела внутрь. Сварить щи или гороховый? Да ну его, этот суп. Похлебаю в больнице. Сделать котлеты или рагу? А для кого? Для кого стараться? Неохота готовить. Совсем неохота. А раньше она любила. Когда с мамой жила и с сыном. Борщи варила, мясо тушила, блинчики пекла. Петька любил мясные, а мама творожные. Пельмени лепила, вареники. Капусту на зиму квасила – огромный трехведерный бак. Петька сидел рядом и выпрашивал кочерыжки. Варенье варила, огурцы закрывала, компоты. Всегда в воскресенье открывали компот – вишневый, сливовый, грушевый.

Густые у нее были компоты – мама говорила: «Компот что варенье». Петька разбавлял компот водой.

А сейчас... Кому, для чего... Ей – не надо. Она грустно вздохнула и вытащила из морозилки пельмени.

Поставила на плиту кастрюлю с водой и стала ждать – у окна. Во дворе гуляли мамки с колясками, на лавочке у подъезда сидели старушки.

Когда-то и она так – с маленьким Петькой, с соседками... Катали коляски по кругу – как лошади в цирке. А мама сидела на лавочке – сплетничала с подружками.

Ни Петьки, ни мамы... – одна. И будет вот есть сейчас свои пельмени

и сглатывать слезы.

Нет, хорошо, что завтра еще один день, а потом на работу. И слава богу! Какая там пенсия – с ума на ней стрехнешься. Присесть со старушками рядом на лавочке? Обсуждать молодежь? И снова ползти к телевизору? Бр-р-р! Господи, какое же счастье, что есть работа. И она на хорошем счету. И с девочками у нее отношения чудные, и с руководством. И больные на нее не жалуются – Галя да Галя, Галина... А некоторые – Галюша или Галиночка.

Слава богу, что послезавтра туда. Встанет, не переломится. Доползет. Жаль, что больница так далеко. Ох, добираться! Потому и остается она ночевать – в ту ночь, что между сменами.

Поплакала, съела пельмени, полив их сметаной, и побрела в свою спальню. Счастье, между прочим. Кровать, ночничок, журнальчик рядом на тумбочке. Спите, Галина Михална! Спите и не грустите. И оглянитесь вокруг – вон сколько горя и сколько несчастий. В больнице небось работаете. Сами все видите. Так что не гневите Создателя. Помолитесь и спите. Приятного сна!

Квартира есть, денег на скромную жизнь хватает – вон, на мутона свой накопите и будет вам счастье.

Работа есть, ноги носят. А что до женского счастья... так и тут вы не одна. Сколько женщин, ваших ровесниц. И помоложе. Куда моложе! И где оно, это женское счастье? Кто его видел?

Утром, на обходе, к Любочкину подошел лечащий врач.

– Как настроение? – поинтересовался он бодренько. – Как спалось-елось?

Любочкин глянул на него и отвернулся. Буркнул:

– Отлично. Так отлично, что жить не хочется...

– Что так? – совсем развеселился тот. – Какие-то проблемы?

– Лично у меня – никаких, – ответил Любочкин на его глупость. – Может, у вас?

Лечащий похлопал его по руке. Фамильярно похлопал, как дурачка.

– Все будет отлично, Николай... Анализы у вас неплохие, вот сейчас капельничку новую вам назначу, витаминчики продолжим, потом кардиограммку повторную забаваем – и по домам! Через недельку, дней десять...

– Бацайте, – хмыкнул Любочкин, – вам-то чего... А мне... Пофиг мне, что вы там «бацаете». По барабану, понятно?

Врач развел руками.

– Ну, так же нельзя! Надо с подъемом, с настроением надо! С позитивом и настроем, так сказать. На выздоровление!

– Ага, – буркнул Любочкин, – как прикажете. Щас поднимусь и гопак вам станцюю!

Врач вздохнул, покачал головой и повернулся к соседу Любочкина.

Галя огромным половником помешивала в ведре горячий геркулес. Плюхнула ведро на тележку, туда же тазик с хлебом и миску с нарезанным кубиками сливочным маслом. Лоток с сыром, поднос с омлетом. Сглотнула слюну: кашу больничную – сладкую, густую – она любила. А еще и хлеб с маслом, горячее какао – ох, красота! Подумала: быстренько все разнесет, раздаст – и к себе, завтракать. Подойдут и девчонки-медсестры. За свежим хлебом – кашу они не едят, берегут фигуры. Правильно, молодость – куда кашей напихиваться! Они у себя, в сестринской, кофеек заварят, колбаски нарежут. Подойдет врач, Илья Матвейч, тот пожилой и к тому же язвенник. Кашу он никогда не пропускает. А заведующему, Виктору Владимировичу, Галина сама отнесет – омлет, бутерброд с сыром, какао.

Он будет ее благодарить за заботу и очень стесняться. Человек он хороший и многодетный отец. Всем его жалко, а ей, Гале, жальче всех.

Знает, что дома позавтракать он не успевает – двух девчонок отвезти в школу, а пацана в детский сад.

Она толкнула дверь в палату и громко объявила:

– Мальчики, завтрак!

Все оживились и стали протягивать ей тарелки. Только Любочкин не повернулся – как вперился в стену, так и лежал.

Она подошла к его постели. Потрогала за плечо.

– Э, молодой человек! Просыпайтесь! Каша вот стынет, какао, омлет!

Любочкин повернулся и увидел ее – хорошую женщину и доброго человека.

Лицо его просветлело, и он сел на кровать.

Она улыбнулась ему, чуть зарумянилась и, оглянувшись, положила на хлеб два куска масла и два куска сыру.

– Ешь, – шепнула она, – сил набирайся!

Любочкин молча и растерянно кивнул и долго смотрел ей вслед, на уже закрытую дверь.

Потом спохватился, быстро съел кашу, которую категорически не ел никогда в жизни, проглотил квадратик омлета, два бутерброда и чашку уже остывшего какао.

И все это показалось ему таким вкусным, словно позавтракал он не в больнице, а в ресторане «Прага», к примеру, в котором не был, разумеется, никогда. За всю свою дурацкую и бестолковую жизнь. Не был, но слышал.

Столичный все-таки житель.

Вошла медсестра со штативом.

– Капельница, Любочкин. Давайте руку! – строго сказала она.

Он живо протянул ей руку и хохотнул:

– С чем капельница, кудесница?

Шутку медсестра не подхватила, а посмотрела на него с осуждением.

– Со спиртом, больной. Устраивает?

– Лучше б с шампанским! – продолжал острить Любочкин.

Медсестра тяжело вздохнула и не ответила. Презирала, похоже.

На обед был гороховый суп и котлета с пюре. Галина ему улыбнулась и положила котлету побольше. И пюре шмякнула – от души.

– Киселю кому? Добавки? – спросила она, и все разом протянули стаканы.

Она подошла к Любочкину и налила ему первому. Он крикнул от удовольствия и дотронулся до ее руки.

– Спасибо! – мелодично и тихо почти пропел он. – Спасибо, Галинушка!

Галя вздрогнула, покраснела и быстро от него отвернулась.

А он, победно оглядев сопалатников, сытно крикнул и отвернулся к стене. Только вслух объявил:

– После сытного обеда, по закону Архимеда...

И – уснул. Чего ж не уснуть, если сыт, в тепле и вполне себе в хорошем настроении!

Вечером, после отбоя, он, обернувшись простыней, осторожно вышел в коридор и на цыпочках подошел к буфетной. Дверь была приоткрыта, но он постучал.

Галя сидела за столом и отгадывала кроссворд.

– Помощь нужна? – игриво спросил Любочкин. – Я в этом деле... Мастак.

Галина зарумянилась и кивнула.

Он присел напротив, подперев голову ладонями.

– Ну, что там у нас? В чем, как говорится, заминка?

– Слово из пяти букв... Не знаю, – честно призналась она.

Он почесал затылок.

– Так, значит...

Помолчали.

– Чаю... Хотите? – тихо спросила она. – С ватрушками.

– Дело! – важно кивнул Любочкин. – А слово это...

Она глянула в журнал, карандашом вписала слово и удивилась:

– Верно! А вы... Такой молодец!

Любочкин махнул рукой.

– Да что там. Кроссворд, великое дело!

– Ну, не скажите, – вздохнула она. – Говорят, что хорошо развивает память.

Потом они пили чай – сначала молча, стесняясь и все не решаясь начать беседу. А потом – понеслось. Вдруг она стала рассказывать про себя, про сына, про внуку и про сноху. Про огород и цветы, которые она так любит, – георгины, левкой, флоксы. Потом стали говорить про грибы и обрадовались, что оба – заядлые грибники. Потом она вдруг вздохнула:

– Сто лет в лесу не была... Одной страшновато, а не с кем...

– Да сходим! – торопливо заверил Любочкин, небрежно махнув рукой.

Она вздрогнула от волнения, опять покраснела и вытянулась в струну, не решаясь переспросить или уточнить – а когда? Когда, собственно, сходим?

А он уже болтал про рыбалку, про дружка Ваську и «во-от таких сомов! В метр длиной. Веришь?»

Она верила. Кивала и верила. Всему верила – и про грибы, и про сомов.

Потом опять говорили – про маму, отца, про его родню. Она рассказывала что-то про маленького Петьку, а он про свою дочку Дашу, хвастаясь, что он уже дед и внука его зовут Дениской. Шикарный пацан. Умнейший!

Она подхватывала про внуку – красавица, умница.

– Вся, короче, в тебя, – хохотал Любочкин, – вылитая, короче!

А она опять краснела и говорила:

– Да ну, скажешь вот тоже! – А потом осторожно спросила: – Коля... Ты меня извини. Ради бога. Но что ты – в трусах? В простыне, в смысле? Без спортивного?

Он помолчал, а потом ответил:

– Честно сказать, неохота просить. Дашка, дочка, с малым. Он приболел чего-то. А бывшую... Неохота вот, понимаешь? Недобрая она, злая... Вредная, короче, дамочка.

Галя кивнула.

– И таких видали. Но ты... Не расстраивайся. Мало ли чего в жизни



бывает... Наладится... может... – неуверенно добавила она.

Любочкин посмотрел на нее с интересом. Этаким мужским взглядом окинул ее. По лицу пробежался, по шее и по плечам. Притормозил на груди и вздохнул:

– Наладится. Может... И даже, – тут он помолчал, – скорее всего!

Утром, раздав завтрак, она побежала к метро. Там сбоку примостилась пара палаток со всяким рыночным барахлом. Она купила костюм спортивный. Китай. Синий с красными «генеральскими», как сказала продавщица, лампасами. Три пары носков, двое трусов и пару маек. Мыло и мыльницу, зубную щетку и пасту, два полотенца – поменьше и побольше. Тапочки домашние, велюровые, в клетку. Расческу, одеколон, гель для душа. Вдобавок – колбасы нарезанной полукопченой, полкило помидоров на веточке, три огурца свежих, две груши «конференс» и килограмм винограда кишмиш. Без косточек.

Глянула на часы и ойкнула – через пятнадцать минут обед, а она... Все копается. Точно – куконя!

Следующий вечер они провели вместе. Опять пили чай, говорили за жизнь. Любочкин повторял, что «такого человека он не встречал никогда».

– Ни разу – за всю, Галя, долгую жизнь!

Она смущалась, не поднимала глаз и все говорила:

– Да ну! Пустяки какие, не о чем говорить.

– Есть о чем, – сурово и твердо возражал Любочкин, – очень даже есть! Ты мне, Галя, поверь.

В свои выходные она тосковала, кругами ходила по квартире и слушала пластинку любимой Пугачевой.

Потом спохватилась, забежала и поставила тесто на пирожки – с капустой, с картошкой, с повидлом.

«Принесу гостинец, – подумала, – вот обрадуется!»

А когда пришла на работу, узнала, что Любочкин выписался.

– Как? – тихо спросила она, и сердце ее словно остановилось.

– Так, – пожала плечом равнодушная медсестра, – а что ему тут валяться? Здоровый кобель, на нем воду возить!

– Здоровый? – ахнула Галя и возмутилась: – Какой он здоровый? Это... на тебе, Люда, надо воду возить!

Села у себя в буфетной и разревелась. Долго редела, до самого обеда. Зашла санитарка Тамара и предложила развезти обед за нее.

– А ты отдыхай, Галочка! Что я, не справлюсь?

На третьи сутки после смены Галина побрела домой. Медленно шла к метро, загребая ногами осеннюю грязь. В вагоне закрыла глаза – смотреть

на людей не хотелось. Тошнило просто от всех этих лиц.

Шла к своему подъезду, не поднимая головы. Думала: «Вот сейчас лягу, и на два дня. Вообще не поднимусь. И гори все огнем!»

Она поднялась в квартиру, включила свет и поставила пластинку. Пугачева пела так пронзительно, так душевно, что она опять расплакалась, плюхнувшись на стул в коридоре.

В дверь раздался звонок. Галина, чуть подумав, открыла. На пороге стоял Любочкин, и в руках у него был букет из белых гвоздик.

– Пустишь, хозяйка? – смущенно проговорил он и тут же шагнул в прихожую.

Она взяла из его рук цветы и продолжала стоять, замерев и глупо моргая глазами.

– Есть чего... поесть в доме? – строго спросил он. – Ну, из еды?

Она вздрогнула, словно очнулась, закивала головой и быстро затараторила:

– Пирожки есть – с картошкой, с капустой и сладкие. Полотенцем прикрыла – наверное, не зачерствели. И в холодильнике. Вот разогреем – и с чаем!

Он важно кивнул.

Она бросилась на кухню – разогревать пирожки и ставить чайник. Он прошелся по квартире, вышел на балкон, свесился вниз, оглядел двор.

Стол был накрыт. Они молча выпили чаю. Он оглядел стены и кивнул на обои.

– Поменять надо, Галя! Несвежие!

Она сглотнула, кивнула и уставилась на него.

Потом пошли в комнату, где надрывалась от горя певица – «Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров! Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом!»

Любочкин протянул к ней руки и привлек к себе. Галина побледнела и закрыла глаза. Певица уговаривала любимого ей поверить. Галине тоже очень хотелось поверить Любочкину. Она положила голову ему на плечо.

Они танцевали.

## Любовь – нелюбовь

Пьяный гость продолжал топтаться на пороге. Господи, помоги!

Но Господь не ответил. Гость, покачиваясь, продолжал исторгать комплименты:

– Фрау Люба! Прекрасная фрау! Вы красивы, как...

Он замолчал, только пощелкивал холеными пальцами с маникюром, подбирая слова.

Потом, прищмокивая сочным ртом, оживился:

– Вы – ко-ро-ле-ва, Люба! Вы – цветущая роза!

Он был явно доволен собой, этот фриц!

Он – да, а вот Люба не очень. Точнее, совсем недовольна. Злость, гнев и раздражение закипали в ней, темной завесой застилая любезность и законы гостеприимства.

– Иди ты уже! – хмуро буркнула она, невежливо подтолкнув гостя в плечо. – Иди, блин! Зануда!

Но упертый гость за порог не выкатывался. Наоборот, он поспринтерски бросился в комнату, ловко обойдя Любу на повороте.

Обалдевшая Люба рванула за ним.

– Владимир! – Гость тряс за плечо хозяина дома. – Владимир! Я не шучу! Я влюблен в твою жену, фрау Любу! Честное слово! Таких женщин я еще не встречал!

Владимир приподнял свою буйную голову и мутным взглядом посмотрел на немца:

– А... это ты! – удивился он. – Ну, и чего?

– Люба! – повторил гость. – Я восхищен!

Вова махнул рукой:

– Ааа! Ну, это понятно!

Потом Вова обвел взглядом комнату, явно теряя фокус, и увидел родную жену. Пригрозил ей пальцем:

– Смотри у меня!

Люба вздохнула:

– Может, хватит, а, Вов?

Муж покачал головой – с этим предложением жены он был не согласен. Так, все понятно. Собравшись, Люба двинулась на гостя:

– Герр! Как тебя там?... Вы собрались уходить? Разве не так? Ну и вали! Борман хренов! – В глазах Любы закипали слезы. – Давай!

Выметайся, чеснок!

Немец часто закивал, принялся извиняться и бочком пошел к двери.

Глядя в зеркало в прихожей и поправляя клетчатое кашне, он посмотрел на Любу и тихо повторил, с опаской оглянувшись на Вову:

– А я не шучу! Я увезу вас, моя королева!

Люба махнула рукой:

– Ага, увезешь! Видели мы таких... Давай уже, дуй! Вот ведь репей, честное слово!

Немец ушел.

Люба посмотрела в глазок. Борман долго стоял у лифта, не решаясь нажать кнопку вызова. А потом пошел вниз пешедралом.

– Ну и черт с тобой! – выдохнула Люба и, на секунду затормозив в прихожей, с тяжелым вздохом пошла в комнату.

Муж Вова спал, уронив буйну голову... Нет, не в салат – слава богу! На стол. Но это тоже ее не обрадовало.

– Вова! – затрясла она мужа. – Вставай!

Он не вставал. Даже и не подумал. Вова крепко и сладко спал.

Люба села на стул и разревелась. Все надоело! Как же все надоело! И за что ей все это? За что? Ревела она долго, громко и со знанием дела.

Вова мирно похрапывал. Наконец Люба встала, пошла в ванную, чтобы умыться. И, умывшись, стала разглядывать себя в зеркале.

– Ага, красавица!.. – грустно заключила она. – Прям такая... Хоть плачь!

Но плакать уже не хотелось. Надо было действовать, включаться: собрать со стола и перемыть всю посуду, убрать остатки еды в холодильник и, самое главное, оттащить мужа Вову, козла этого, на диван.

Вот его, родного, она оставила на «закуску».

Передев посуду и убрав все в холодильник, Люба с тяжелым сердцем зашла в комнату.

Вова по-прежнему спал. Она стала трепать его за плечи, вложив в эту акцию всю свою душу. Потом хлопнула по щекам. Вова мычал, отбрыкивался, нес какую-то несусветную чушь, что-то выкрикивал – как ей показалось, «Спартак – чемпион!» – и снова ронял лохматую голову на стол. Земное притяжение давало о себе знать.

Наконец, почти обессилив и громко заорав, Любе удалось приподнять муженька. Схватив неподъемного мужа под мышки, Люба подтащила его к дивану и швырнула, вложив в это действие все свое отчаяние, боль и даже ненависть.

Вова махал руками как мельница.

– Спи, козлице! – выкрикнула она. – Спи, кровосос!

Вова был послушен. Через минуту раздался его громкий и монотонный храп.

Стараясь не смотреть на мужа – вот уж радость! – Люба сняла со стола скатерть, вытряхнула ее на балконе и внимательно осмотрела – конечно, стирать придется! Пятна от красного вина, от селедки под «шубой», от винегрета и торта контурной картой красовались на голубоватом льне.

Замочив скатерть в тазу, Люба подняла глаза к зеркалу. На нее смотрело усталое, рассерженное и раздраженное лицо.

«Красавица!.. – еще раз грустно хмыкнула она. – Да уж, куда там! Пьяный дурак этот фриц! С пьяных-то глаз...»

Никогда Люба не считала себя красавицей. Никогда, честное слово! И даже наоборот: глаза, рыжие (мама говорила «янтарные») – нет, именно рыжие! – расставлены были так далеко от переносья, так уходили к вискам, что в школе ее дразнили «инопланетянкой».

Кожа очень белая, «сметанная» кожа – солнце всегда опаляло ее мгновенно. «Кусало» недобро, и на лице выступали красные пятна. Зато ей шли шляпы с полями от солнца.

Брови – густые и длинные (соболиные – по-маминому же утверждению, что полная чушь!) – тоже взлетали к вискам. На курносом носу рыжели веснушки – редкие, но... крупные. И они раздражали! Люба и выводила их, и замазывала крем-пудрой – все понапрасну. Веснушки нагло проступали, и все тут! Все говорили про шарм и прочее, но... Любе веснушки не нравились. Ей вообще не нравились белокожие люди. То ли дело смуглянки!

А про рот... Ну, это вообще! Что уж тут говорить... Лягушачий рот, вот! Ни больше ни меньше. Лягушачий, огромный рот! До ушей. И наплевать, что сейчас это модно. И наплевать, что у всех актрис и моделей такой! И наплевать, что все, как одна, подкачивают гели и прочие, неизвестные Любе средства... Наплевать! Буратино, ей-богу!

С фигурой и ногами у Любы, правда, все было нормально. И даже очень! Но рот!.. Слава богу, что родилась в девяностых, когда в моде были ну очень крупные рты! А если б в тридцатых? Что тогда? Люба рассматривала фотографии звезд тридцатых годов: крошечные, бантиком, губки, стеснительно поджатые, совсем не наглые, вот! А эти... пельмени.

«Про волосы ничего не скажу, – решила Люба. – Грех жаловаться. Только...» Опять она была недовольна. Волосы ей нравились кудрявые или волной. Спиральки, завитки, локоны, кольца... А у нее – как лошадиная грива! Прямые и жесткие. Нет, густые! Льются по спине, текут словно река.

Но не накрутишь, не завьешь. Ничем! Щипцы не берут, бигуди – уж тем более. Плойка – туда же!

Только закрутишь в пучок – тут же наружу. Шпильки летят, заколки звонко щелкают и открываются... Непокорные, как и сама их хозяйка.

Хотя... Была непокорной. А вот сейчас... Смирилась.

Нет, не смирилась! Просто устала бороться.

Люба вышла из ванной, прошла мимо храпящего мужа, даже не взглянув. Противно. Стыдно. Обидно. Нажрался, свинья!..

Плотно закрыла дверь в спальню и наконец улеглась.

Устала как бобик! А сон все не шел. Потому что расстроилась. Злилась. Где тут уснешь?

Вспоминала свою жизнь и неоправданные надежды... И снова хлюпала носом.

И почему все не так? Всегда все не так, как хотелось. Мечталось. Надеялось. В конце концов – обещалось!..

Мужа Вову она любила. Крепко любила! Потому что по-другому любить не умела! Такая натура – «страстная», как говорила мама.

Все у нее захлеб, все чересчур. Через край. Все эмоции, все движения, так сказать, души. Все поступки. Решения. Резкие!

Так и за Вовку своего выскочила – с горячей головой, не подумав. А подумать бы надо было!..

Нет, ничего такого! В смысле, ничего страшного. Вовка был смел, удачлив, горяч. Острил так, что все просто валялись. Прикалываться умел, это да! Не трус! А ведь все сейчас трусы. Сначала о себе подумают, а уж потом... А Вовка отчаянный был! Да и есть! В драку любую рванет – не задумается. За справедливость! Все это осталось. Ничего не пропало. Верил в свою звезду Вовка, верил. Искренне верил. И Любу убедил: «Все у нас получится, зайка!»

Зайка поверила.

Сказал: «Уедем в Москву, и все у нас будет! Все, слышишь? Квартира, машина. Семья. Одну тебя как принцессу!»

Верила Люба. А все потому, что хотела верить! В Москву собралась за два дня: покидала вещи и – все! Тю-тю, родной Нижний! Привет!

Мама, конечно, рыдала. Она-то Вовке не верила, говорила: «Загубит он твою жизнь!»

Но Люба не слушала – куда там! Где мама и где он, любимый?

Не в столицу – на Таймыр бы за ним поплелась. В собачьей упряжке, пешком. По льду. Лишь бы с ним!..

Сначала казалось – не обманул! Ну, почти! Работал как вол, это правда.

Старался. Шел лбом, напролом. А лоб у него... Дай бог каждому! Каменный лоб.

Уже через три года взяли ипотеку и купили квартиру. Правда, однушку. Но лиха беда начало, ведь так? Мебель купили, машину. Люба курсы окончила – ногтевой сервис, вот так. Ногти клепала – гелевые, акриловые. Ничего зарабатывала, неплохо. В Турцию съездили. Один раз.

На пляже Люба мужем любовалась: стройный, высокий, поджарый. Ноги длинные, мускулы рельефные. Волосы – мягкой волной. Красавец! Бабы разглядывали его с нескрываемым восхищением. А Люба злилась! Ревновала – ужасно!

А все потому, что он отзывался! На бабьи призывы. Бросит иная взгляд – и рот до ушей. Улыбался в ответ. Голову вскидывал, короче – бил копытом. Нравился бабам всегда.

Нет, по большому счету, было все хорошо! Деньги в дом приносил, по вечерам не задерживался. Только иногда... Да, иногда. Но Любе этого хватало. Сходила с ума будь здоров! Просто дохла тогда. От злости и боли. Так ревновала!

Но это все домыслы. Пойман Вова не был. Так, подозрения и «догадки воспаленного мозга», как он говорил. А мозг воспален от любви. И от гневливого и недоверчивого характера. И от знания того, каков он, ее Вова.

Не очень надежен, да... Мама права.

Люба подолгу внимательнейшим образом рассматривала вещи мужа – свитера, майки, рубашки. А вдруг – помада, духи, чужой волос... Помады не было, если честно. Духи иногда мерещились, но... Это тоже были догадки. А может быть, глюки. А вот волос не наблюдалось, надо признаться. И слава богу! С ее-то темпераментом! Ох, наломала бы дров!..

Словом, жила в ожидании. Какой-нибудь гадости, что ли?

Ой, хватит, не надо! Не надо себя распялывать! Умеет она это делать, умеет! Что и говорить! Вот только выпивка Вовина... была иногда чрезмерной. Любил Вова выпить. И меры не знал.

Вот что ее удручало. Нет, пьяницей не был, но... Нажраться мог, да. От души! От всей своей русской души – широкой, бескрайней, как море.

А этого Люба не выносила! Совсем. Категорически. Билась как лев. Нет, как тигрица. Орала, рыдала, била посуду... Била мужа по морде. Обливала холодной водой.

Вова отмахивался, увертывался как мог, зажмуривал глаза. Наутро клялся, божился: «Все! Этот раз был последним!» Но, увы... снова получался предпоследний раз.

И Люба опять кричала и била посуду. Не выносила она пьяных людей,

не выносила! «Все, что угодно! – орала она. – Только не пей!»

Про «все, что угодно» было, конечно, неправдой. Все, что угодно (кстати, хорошо, что он не уточнял, что именно!), ее бы тоже совсем не устроило.

Потому что это «все, что угодно» означало «все, что угодно»! В том числе и... Ну, понятно!

Нет, никаких компромиссов! Люба не тот человек! Компромисс не для нее!

...Стоп, Люба! Подумай! Вспомни, милая, как на Таймыр собралась.

И все же... Мириться Люба не собиралась. Потому что хотела семью! Нормальную, крепкую. С детками. С домом в лесу. С уютной квартирой. С борщом в кастрюле и пирогом на столе. Чтоб было складно и ладно. Вот так! Как быть должно и обязано, вот.

И безо всяких там... ком-про-мис-сов! Не для нее это все. И ни в чем ей не надо половины, отрезанного куска, отщипнутого края, горбушки и корки. Чужого не нужно и своего не отдам! Ясно? Вот так!

А то, что гневаюсь я на Володьку, – так это понятно! Люблю. Было бы пофиг – так было бы пофиг...

Приезжала мама из Нижнего. Ходила по квартире, смотрела в окно и вздыхала:

– Дочка, зачем тебе все это нужно?

Люба, человек горячий, заводилась мгновенно:

– Ты, мам, о чем? – И жестко требовала объяснений.

– Ну, вот смотри, – вздыхала мама и откладывала на пальцах. – И чего тебе не хватало? Там, дома? Квартира была! И отличная! Не эта... хлабуда, – мама обводила взглядом Любину кухню, – не эта! – окончательно убеждалась она. – В Нижнем у тебя была «трешка»! Да какая! Самый центр, окнами на реку, кубатура, простор. Обстановка! Мы с папой старались... – совсем загрустила мать. – Дача была! – вновь оживлялась мама. – И, кстати, есть! Прекрасная дача! Лес, река, – мама задумалась, припоминая, – газ! – вскрикивала она.

– У меня здесь тоже газ, мам! – усмехалась Люба.

– Вот именно! Только газ! Из хорошего! Ты смотрела в окно? Нет? Неохота? А ты посмотри!

Люба махала рукой:

– Мам, отстань! Какая мне разница, что за окном!

А за окном и вправду было паршиво. Вечная стройка и вечная грязь. Никакого пейзажа – помойка.

А мама увлекалась и продолжала:



– Так! Это раз. Второе – такая даль, Люба! И зачем эта Москва, когда до нее два часа ходу? Нет, ты мне ответь! Забрались за Кольцевую и радостно сообщаете, что живете в Москве! Самим не смешно? Какая это Москва? Ты хоть себе не ври, дочь!

– Мама! – взрывалась Люба. – И все равно – столица! Все равно – Москва! Сейчас даже принято... жить не в центре. Там никакой экологии! А Москва – это театры! И выставки! И вообще – центр Вселенной! Час-полтора – и доехали!

– Ты часто бываешь на выставках? А в театре? Когда в последний раз, Люб? Да и Вова твой... – Мама вздыхала и замолкала.

– Что Вова? – взвивалась Люба. – Чем Вова не угодил?

– Да всем! – Мама поджимала губы. – Ненадежный твой Вова! Вот чем! Мы тебя всему, Люба, учили: музыке, танцам. Французскому. Институт. А ты... Ногти клеишь... придурошным тетенькам!

Люба вскипала, вскакивала со стула и начинала орать:

– Почему придурошным, мама? И Вова – козел, и мои клиентки – придурошные!

– А потому, – отвечала мама с каким-то садистским спокойствием, – а потому, что нормальная женщина, хозяйка и мать, когти клеить не будет! Не будет она думать об этом, ты поняла?

А Вова твой... Безголовый, вот! Легкомысленный! Безответственный твой Вова! Раз – и сорвался! И тебя уволок! Куда, зачем? Непонятно! И что ему в Нижнем не жилось? Нет, ты ответь! Ведь все у вас было! – горестно вздыхала мать.

– Москва – это жизнь, мам! Пер-спек-ти-ва! Начало пути!

– Какого пути, Любонька? В никуда?..

– Нет! – не сдавалась Люба – В куда! Вот мы в Москве пару лет, а у нас уже квартира! Своя! Да, далеко! За Кольцевой! Ну и что? В дальнейшем переедем! Поближе. Не на Красную площадь, конечно, но... Машина у нас. Да, в кредит! Но ведь весь мир, мам, живет в кредит! Понимаешь? Европа, Америка – все!

– Мы – не все! – твердо отвечала мама. – У нас свой путь. А кредиты эти... Одни бессонные ночи!

– А Вову не трогай! – продолжала Люба. – Он мой муж! И я его, мама, люблю!

Мама вздыхала – тяжело и громко, вложив в этот вздох всю материнскую боль:

– Любишь... Конечно. Только вот... счастливой ты, дочка, не выглядишь! Вздернутая вся, нервная. Орешь вот все время! А детки?..

Давно ведь пора!

– Ма-ма! – орала Люба. – Успеем! Мы... хотим на ноги встать!

– Вот помню Шурика Комлева, – заводила пластинку мама. – Ах, какой же был мальчик! Хотя почему был? Есть! Своя фирма, коттедж трехэтажный, машина шикарная. «БМВ», кажется... Ну, с таким блюдечком впереди...

– Блюдечком! – презрительно фыркала Люба. – С тарелочкой, блин!

– Ага, – продолжала мама, не обращая внимания на дочь. – Серьезный такой, представительный. Да, не красавец! Но очень приятный мужчина! А как он любил тебя, Люба!

Люба махала рукой и убегала к себе. Поговорили! Злилась на маму. Приехала в гости – и вот!.. Посеяла в сердце тоску и смятение. А они там и так давно поселились. И ведь ни слова поддержки! Тоже мне, мать!..

Перед сном Люба долго разглядывала себя в зеркале: «Счастливой не выгляжу?»

Она поворачивала голову вправо и влево, вытягивала губы в трубочку, растягивала в улыбке, хмурила глаза, сдвигала брови, надувала щеки, трясла волосами и снова вглядывалась в свое лицо.

Счастливая? Несчастливая? Обычная, вот что! Обычная замужняя женщина! Со своими взбрыками и проблемами! С ежемесячными ПМС, с мечтами о новой шубе и сапогах. С осточертевшими кастрюлями и сковородками. Со своими радостями и разочарованиями! Вот так!

И у кого, интересно, нет этих проблем? А мама есть мама! Все мамы всегда недовольны зятьями!

Нет, она, конечно, по маме скучает! Но... Этот долбеж... Задолбал!

Теща зятя встречала неласково: «здравствуй», и все.

А Вова был ей искренне рад: «Вера Григорьевна! Здрасьте! Ой, ей-богу, соскучился! А рыбки вы нам привезли?»

Мама молча вытаскивала пакет с вяленой рыбой и громко брякала на стол.

А Вова не замечал раздражения: радовался и лещу, и тараньке. Чуть в ладоши не хлопал, предвкушая рыбку с пивцом.

Возил, между прочим, любимую тещу на прогулки в Москву – на Тверскую, Арбат. Зазывал в ресторан. Теща долго отказывалась, мол, не привыкла, а потом, кокетничая, соглашалась. Голод не тетка!

И Вова радовался! Ресторан выбирал подороже. В ресторане маме не нравилось все! Мясо жесткое, салат с несвежим майонезом, суп – вообще вода, как им не стыдно?! А десерт... Да за двести рублей! Ну, вообще!..

«Столица!..» – презрительно хмыкала теща.

Люба злилась и корчила гримасы. А Вова расстраивался, искренне так: «Вера Григорьевна! Что, совсем все так плохо?»

И теща с огромным и очень заметным удовольствием, тщательно выговаривая слова, произносила: «Да уж... Кошмар!»

Люба фыркала и метала в мать молнии: «Ишь, королева! Ей, видите ли, кошмар! Обычный кабак, вполне приличная еда. Вот примоталась!.. Все ведь назло! Чтобы Вовка расстроился! А ведь всю жизнь в своей школьной столовке питалась! Вот уж где был кошмар! Брр!»

Но как только мама уезжала, Люба начинала скучать. И по Нижнему, и по даче, и по квартире своей...

Но об отъезде не думала, нет! Здесь ее нынешний дом и семья. Здесь ее муж. И значит, здесь ее место!

О детях, конечно, мечтала. Пыталась обсудить это с мужем. Вова легкомысленно отмахивался: «Успеем, Любаш! Какие наши годы! Надо встать на ноги! Все впереди», и так далее.

Правильно, конечно. Куда им сейчас дети? В квартире тесно, кредиты висят, как ярмо. К тому же уйдет Люба с работы – как жить? Вовина зарплата уходила на оплату долгов.

И все же... Ведь ей уже тридцать два. Нет, все понятно: по нынешним временам рожают и в сорок восемь! Но...

И все равно в мужа Вову она верила, да! И словам его верила – пусть и легкомысленным! И обещаниям – часто беспочвенным, кстати. Вова ведь как дите: верит в хорошее, доброе, светлое. «Прорвемся!» – любимое слово. А может, так: муж у нее оптимист, а она просто зануда?

Вот, например, новый проект, вместе с немцами. Перспективы – отличные! Вова уверен.

«Усё, зайка, будет! Усё! Дом хрустальный на горе – для тебя! И родники мои серебряные, и золотые мои россыпи!»

И Любино сердце таяло от таких слов, словно мороженое на краю плиты – медленно растекалось в сладкую лужицу.

Только где твои россыпи, Вова? И где твои родники?

Сколько рассыпалось твоих проектов? Как карточный домик. Сколько рухнуло «мечт» и надежд?..

Ладно, как будет. А надежда, что с этим Борманом, фрицем с маникюром, что-то получится, и вправду была! Уж больно этот герр Одо Преппёр был рад их знакомству! Все трындел: «Владимэр! Скоро мы здесь, в вашем бюро, будем считать оччень большие деньги! Не зря мое имя означает “богатый”!»

Люба сразу прозвала его Борманом: лицо холеное, весь как смазанный сливочным маслом. По тряпкам видно, человек с достатком. С хорошим достатком. Брюки, пальто. Часы. Рассказывал, что у него три дома: шале в Альпах – «как дача, ха-ха!». Домик в Испании – ма-аленький, в три комнатки! В Форментере! Но на берегу! А больше не надо! И большая квартира в Дюссельдорфе! В Оберкасселе, между прочим!

И Форментера, и Оберкассель были словами для Любы совершенно непонятными и незнакомыми. Погуглила: ну, все понятно! Герр наш – богач!

А Вова шутил: «И чего этот Преппёр приппёрся?»

Шутник. Но шутки шутками, а в Преппёра верил. Точнее, в совместный с ним бизнес. Что-то там со строительством деревянных домов. Из экологически чистого леса. Вот только где этот экологический лес? Остался ли он на земле?

Вова был легким, наивным, смешливым, беспечным, талантливym. Вова был легкомысленным, необязательным, чересчур оптимистичным – порою до глупости. Болтуном? Да! Прожектором? Конечно!

Но... он был любимым! И это объясняло и оправдывало все. Абсолютно!

И, наверное, Вова был еще и везунчиком. Судьба любит легких, веселых и смешливых людей. А к занудам и жалобщикам она не очень-то благосклонна.

Вечером следующего дня Вова, почти пришедший в себя после вчерашней пьянки (две таблетки аспирина и две алка-зельтцера сделали свое дело), сообщил, громко проглатывая куски жестковатой печенки:

– Завтра... Ну, максимум послезавтра подпишем с Преппёром контракт. А это, Любочка! – Тут Вова многозначительно замолчал, почти замер и посмотрел на жену с какой-то таинственной ухмылкой, напоминающей морду довольного, объевшегося сметаной кота. – А уж тут, милая!.. Тут мы заживем!

Люба недоверчиво дернула плечиком и сложила губы в скобку – почти как мама, Вера Григорьевна.

– Да! – агрессивно настаивал муж. – Именно так! Заживем! Все у нас будет, – жмурился Вова, – и хата в Москве, и машина покруче! «Крузак», например! А, Любань? Нет, ты послушай! – требовал он. – Новый «крузак»! Люб! Ты не веришь? – искренне удивлялся разгоряченный Вова.

Люба вздыхала.

– И хата! – настойчиво повторял упертый муж. – Ну, например... – раздумывал Вова, – например, в Крылатском! А что – хороший район! Ну, или там... На Комсомольском! А, Люб?

– Хватит! – оборвала мужа Люба. – Ты заработай сначала! Слышали мы!..

Вова обиделся. Всерьез, кажется. Но ненадолго! Надолго обижаться он не умел. Это Люба могла молчать целый месяц. А Вова – часа два от силы.

– Не веришь? – сурово сдвинул брови супруг. – Ну и не верь! А лично я знаю!

– Угу! – Люба сурово кивнула. – Плавали, знаем!.. Ладно, доедай – и в постель! Мне и той ночи хватило!

Вова закивал и «дурацким» голосом жалобно попросил «компотика».

Уже перед сном, кряхтя и ворочаясь, как бы между делом – знал ведь свою гневливую женушку – он как бы невзначай обронил:

– Да, Люб! – громкий зевок. – А мы завтра с Одо встречаемся. Идем в ресторан. На прощание, – испуганно добавил он, – вместе с тобой!

Возмущенная Люба привстала:

– Со мной? Здрасьте!.. Со мной... Разбежалась! Вот прямо сейчас пойду и гуталином босоножки натру!.. И думать забудь! Не пойду! Опять наблюдать вашу пьянку! И глупости ваши! Сейчас! И разговоры про бизнес... Надоели! И потом... у меня завтра клиентка. Марина.

Люба откинулась на спину и засопела, вложив в этот звук весь свой гнев и недовольство.

– А придется! – спокойно ответил муж. – Герр Проппёр вас видеть желает! Как украшение стола! Прощальный банкет, Люб! После подписания всех бумаг! И будем мы там не одни – будет куча народу! И тебе, моя милая, быть там положено! По этикету! А пить я не буду – честное слово! – торопливо добавил Вова. – Слышишь, Любаш?

Коротко изложив, что ей категорически наплевать на этикет, на прощальный банкет, подписание важных бумаг и кучу важного народа, отвернувшись, Люба сделала вид, что уснула.

А вот Вова действительно сразу уснул – засопел быстро, почти моментально, сообщив доверительным тоном, что она, Люба, все же пойдет!

«Вот ведь нервы! – раздраженно подумала Люба. – Канаты! И все ему по барабану...»

Наутро Люба встала с плохим настроением, опухшими глазами и синяками под ними.

Молча собрала завтрак, надеясь на Вовину забывчивость. Вова и вправду о предстоящем ужине не говорил. Вот только у двери, собираясь шагнуть за порог, посмотрел на жену и внятно сказал:

– Ровно в семь я у подъезда! А ты... Чтобы была как часы! Поняла?

У лифта обернулся:

– И сделай прическу! – сказал тоже строго, но через секунду рассмеялся: – Чтобы гордилась страна!

Опешившая Люба ничего не ответила. Медленно затворила дверь и села на стул. Не пронесло...

Пришлось собираться. Правда, прическу Люба решила не делать: знала, что ее красота – в распущенных волосах. В этой медной реке с переливами.

И вечернее платье решила не надевать – перебьются! И муж, и страна. Пусть гордятся тем, что есть.

Юбка по колено, скромный свитерок. Каблуки, конечно, наденет. Так, для блезиру. Осмотрела себя в зеркале – придирчиво, как всегда. Глаза на висках, рот как у рыбы. Негритянский такой... Тронула губы светлой помадой – подчеркивать это совсем ни к чему. Ресницы подкрасила. Все, обойдетесь!

Свитер цвета сочной травы – с откровенным и даже нескромным вырезом – Любе шел. Мотнула головой: водопад волос заструился, зажил своей жизнью. Нет, все ничего. И даже очень!

Точно ко времени – еще одна странность: Вова не был пунктуальным – муж был во дворе. Посигналил. Люба опять завелась: «Нельзя было звякнуть на сотовый? Стоит и гудит в свой клаксон!..»

Вышла и молча села в машину.

– Ну, и чего? – спросил муж. – Сейчас-то – чего?

– Да ничего! – буркнула Люба. – Не люблю я все это!..

Вова пожал плечом:

– Странная ты... Я же тебя не в горы зову! И не на уборку картошки! А в ресторан! На светский, так сказать, ужин! – И он радостно рассмеялся.

– Вот именно! – ответила Люба. – Все эти светские рауты... Ну, не по мне это! И ты это знаешь!

Последняя фраза прозвучала укоряюще.

Вова включил радио и стал подпевать Михаилу Кругу.

Люба молча смотрела в окно.

Ресторан был шикарным! Это сразу видно. По парковке и услужливому парковщику, принявшему у важного Вовы ключи. По швейцару с золотыми галунами, склонившемуся в почтительном поклоне.

По встречающей девушке-менеджеру с внешностью «Мисс Вселенная», которая проводила их к столику. По интерьеру – пышному, золотисто-кудрявому, в стиле рококо или барокко. Люба в этом не разбиралась.

За столом сидели Одо Проппёр и еще двое мужчин. Один – явно немец, худощавый, с узким и строгим лицом, одетый в светлый костюм. Второй – полноватый и кудрявый весельчак в яркой рубашке, с широкой золотой цепью на загорелой и массивной шее.

При виде Любы все оживились. Особенно перец в яркой рубашке. Он протянул руку и представился:

– Стас.

«Сухой» – как тут же нарекла про себя Люба немца в светлом костюме – представился Валерием Ивановичем.

«Не немец!» – удивилась она. – А как похож!»

Как поняла Люба, Сухой относится к Вове и русской стороне, а кучерявый Стас – человек Одо.

Чересчур заботливые официанты (ну, просто мамы и папы!) положили перед каждым гостем меню – огромные и тяжеленные, тисненные кожаные папки.

Предложили аперитивы. Вова оживился и заказал виски. Люба метнула на него грозный взгляд: «Хорошенькое начало! А что будет дальше?»

Одо произнес незнакомое Любе слово: «дюбонетт».

Валерий Иванович показал рукой «нет».

«Защитый», – подумала Люба.

Стас попросил «коньячку»: пять звезд, «Хеннесси Паради», все как положено.

Люба заметила, как у мужа Вовы брови поползли вверх.

Принесли закуски и аперитивы. От горячего Люба отказалась – заказала только салат.

А мужчины принялись наперебой уточнять у официанта степень прожарки стейка: «медиум-рэр, медиум-велл, велл-дан...»

Одо Проппёр был тих и, казалось, печален. Он кидал взгляды на Любу, а она старалась на него не смотреть – больно надо!

Бледно-голубые глаза Одо влажно блестели из-под стекол очков и были задумчивы и очень печальны.

Чувствовалось, что Валерий Иванович тут явно главный. Все, кроме печального Проппёра, старались ему угодить. Особенно Стас. Разговор потек мужской, серьезный: охота, рыбалка и бизнес.

Под седло барашка Валерий Иванович произнес важным голосом тост:

«За наше правое дело!»

Стас заплодировал.

Любе было скучно. Ужасно скучно! Ей было совершенно наплевать на восхищенные взгляды мужчин за столом. Наплевать на то, что муж Вова ею гордился. И наплевать на Одо Проппёра – печального, грустного и явно влюбленного. Кокеткой она не была, мужчины ее не интересовали, и рестораны – любые – казались ей бессмысленным проведением времени. Лучше бы дома, ей-богу! У телевизора или компа.

Но она понимала, в чем причина ее вечного беспокойства, тревожности и отвратительного настроения. В муже Вове. В его постоянном желании крепко выпить. В невозможности его остановить, объяснить его меру. Ну, и все, что из этого следует: испорченный вечер, испорченное настроение и долгая, сложная транспортировка мужа до дому.

А там – «продолжение банкета»: Вовины приступы неоправданного веселья, попытки продолжить кутеж, нежелание принять душ, лечь спать и утомиться.

Поэтому каждый подобный «выход в свет» был для Любы испытанием. Таил опасность. На друзей, партнеров и просто знакомых она смотрела с настороженностью: кто составит Вове компанию? Все для нее были недруги, все враги...

Валерий Иванович, насытившись барашком под клюквенным соусом, поднял традиционный тост за прекрасных дам.

– За Любовь! – подхватил Одо Проппёр и бросил на Любу торжествующий взгляд.

– Луба-луба! Ты – шуба-дуба! – заржал довольный Вова.

Все переглянулись.

Взгляд, который бросила на Вову жена, говорил о многом.

Люба покачала головой, вздохнула и сделала глоток вина. Посыпались комплименты от Сухого и Кучерявого. Оба были велеречивы и потому смотрели друг на друга с неудовольствием.

Люба хмуро молчала. Заиграла приятная, негромкая музыка. Одо Проппёр, галантно поклонившись, пригласил ее на медленный танец. Вова толкнул жену ногой под столом, и та обреченно вздохнула и встала со стула.

Танцевал Одо хорошо: вел в танце уверенно, музыку чувствовал и на ноги не наступал.

От немца приятно пахло «негромким» одеколоном, хорошим коньяком и сигарой. И еще... каким-то спокойствием и уверенностью. Деньгами пахло, вот чем!



Одо рассказывал, что давно разведен – уже десять лет. Но чувствует себя одиноким. Потерянным в этом «холодном» мире. Хочет семью и детей. Да-да, детей! Младенцы – это огромная радость! А его сыновья давно выросли и внуков пока не подарили, увы.

Люба кивала и с тревогой поглядывала на мужа. «Вова, остановись!» Но красноречивых взглядов жены супруг не замечал. Был увлечен разговором и все подливал себе коньячок.

Ослабленный узел галстука, небрежная и вальяжная поза, громкий голос мужа красноречиво говорили ей о понятной кондиции.

Люба нервничала, страдала. Ей хотелось поскорее уйти – от герра Проппёра, от Вовиных возлияний, вообще из ресторана.

Музыка закончилась, и Люба облегченно вздохнула. А герр Проппёр объятия не ослаблял.

Она вскинула на него резкий взгляд:

– Ну! В чем еще дело? – невежливо и нервно спросила Люба.

Одо взял ее за руку:

– Льюба! Льюбофь!

Люба вопросительно посмотрела настырному ухажеру в глаза.

– Льюба! – Герр Проппёр замолчал и посмотрел на партнершу с восхищением и некоторым испугом. – Я... предлагаю вам... руку и сердце! – сказал Одо, прижав ее руку к своей груди.

Потом он бросил взгляд на их столик, где наливался коньяком его бизнес-партнер и Любин муж Вова, и тихо спросил:

– Зачем *это* вам, Льюба?

Люба ошарашенно молчала. Потом резко выдернула руку и, покачав головой, медленно сказала:

– Совсем, что ли? Вы что, господин, обалдели? Какая рука и какое сердце?! У меня муж, между прочим! Мой Вова! И ваш, кстати, партнер! Как вам не стыдно? – продолжала она возмущаться. – Такое и мне – женщине приличной и замужней?

Люба осуждающе покачала головой, громко вздохнула, махнула рукой и быстро пошла к их столу.

– Руку и сердце... Совсем одурел! – бормотала она. Потом возмущенно тряхнула волосами. – Придурок какой!..

Тем временем муж Вова начал ронять голову. Люба отодвинула тарелку с остатками горячего и затрясла его за плечо:

– Вова! Вставай! Все! Достаточно!

Валерий Иванович посмотрел на нее с жалостью. Кудрявый Стас, громко хмыкнув, покачал головой.

Люба подхватила мужа под мышки и крикнула Стасу:

– Ну и что мы смотрим? Давай помоги!

Тот с готовностью вскочил, быстро кивнул и, подхватив Вову, участливо осведомился:

– Куда? Это... тело?

– Сам ты тело! – буркнула Люба. – На выход давай!

В машину Вову затаскивали тоже вдвоем. А он брыкался, махал руками, словно отгонял комаров. Громко посылал Стаса подальше и расплывался в сладкой улыбке, в секунды просветления опознав родную жену.

Кое-как утрамбовали. Стас внимательно посмотрел на Любу и тихо сказал:

– Ну, и зачем тебе это надо? Ты же... роскошная баба! А не знаешь себе цену!

– Да пошел ты! – резко ответила Люба. И вдруг рассмеялась: – Ты на своих баб ценники вешай! В Берлине своем! А здесь... здесь...

Она замолчала, махнула рукой и села в машину. На заднее сиденье, рядом с уснувшим мужем.

Машина тронулась с места, и Люба крикнула в открытое окно:

– Спасибо, партнер!

Стас пожал плечами, покачал головой и пошел в ресторан.

Из машины Вову тащили на пару с шофером. За отдельную, разумеется, плату.

Он же и помог Любе «уконтрапупить» беднягу – как он сказал.

Уложив мужа, Люба в изнеможении села на стул. Слава богу, на сегодня все! Можно расслабиться...

Люба сняла туфли и юбку, стянула свитер и босиком пошла на кухню. Ужасно хотелось есть! Две холодные рыбные котлеты, соленый огурец и кусок черного хлеба. «Как вкусно, ммм! Куда лучше, чем вся эта чушь с морепродуктами, аперитивами, дижестивами, консоме, пралине и бланманже!» – усмехнулась она.

Потянулась было за третьей котлетой, но остановилась, вспомнив, что Вова любит котлеты из рыбного филе...

Потом выпила холодного компота с лимонной вафлей и пошла спать.

Проходя мимо Вовы, вздохнула и, окинув мужа недовольным, но любящим взглядом, поправила одеяло, подоткнув его под ноги.

Утром проспала. Глянула на часы и ужаснулась: завтрак мужу не собрала, рубашку не подгладила – в общем, кошмар!

«Ладно, не маленький! – разозлилась Люба, вспомнив вчерашний вечер. – Завтрак ему еще подавать! Не заслужил! Обойдется!»

Днем пришли две клиентки. Потом, освободившись, Люба взялась варить кислые щи (Вова любит!) и компот.

Днем прилегла, пролистав пару журналов. Поболтала с мамой. Разумеется, ни словом не обмолвилась про вчерашнее.

Полчаса поспала. Встала, выпила кофе, протерла пыль и запустила машинку со стиркой. Глажку решила оставить на вечер.

Перебрала Вовины носки, свернула их «калачиком». Посмотрела на часы: через полчаса должен приехать муж. Вдохнула и даже как-то... обрадовалась. словно в детстве мороженому.

В дверь раздался звонок.

«Рановато!» – испугалась Люба и метнулась в прихожую.

За дверью стоял молодой человек в голубой форме курьера. В руках он держал большую белую корзину с цветами. Корзина источала невероятный запах сирени. Там и была сирень – белая, фиолетовая, почти черная, светло-сиреневая, ярко-бордовая и голубоватая. Всех возможных и невозможных оттенков. На пышных, махровых кистях сверкали капельки воды.

– Это... мне? – растерянно, почти шепотом спросила она.

Курьер приподнял брови:

– Ну, если вы... Любовь Тимохина?..

– Да, – совсем растерялась Люба.

– Красиво, да? – улыбнулся какой-то детской улыбкой курьер, показывая взглядом на корзину. – И это в конце сентября!

Люба задумчиво кивнула и чуть покраснела:

– Красиво!..

Протянула руки, чтобы забрать корзину, но курьер занес сам. «Тяжелая очень!»

Люба кивнула, сказала «спасибо» и медленно затворила дверь.

Корзина благоухала, заполняя собой все небольшое пространство прихожей. И запахи сирени моментально проникали, просачивались, заползали в квартиру.

Люба наклонилась и увидела маленькую глянцевую карточку, проглядывающую сквозь пену соцветий.

«Фрау Любе, прекрасной и странной! Господин Проппёр – с уважением и любовью!»

«Аааа... – разочарованно подумала Люба. – Ну... все понятно!»

Станным образом красота и очарование роскошной клумбы как-то сразу пропали... Сладкий и богатый аромат быстро улетучивался,

растворялся, таял, как снежинки на батарее.

Или ей так показалось?

«Неживая какая-то», – подумала Люба и тревожно глянула на часы.

Муж Вова опаздывал.

Она подскочила к окну, но понервничать не пришлось – муж уже парковался во дворе.

Люба бросилась на кухню, чтобы поставить разогревать щи.

Раздался дверной звонок. Люба глянула в зеркало, поправила волосы, облизала губы, одернула майку и заспешила к двери.

Муж стоял на пороге. В руке он держал розовые гвоздики. Пять штук.

Молча протянул Любе. И та, взяв букет, уткнулась в него лицом: боже, как пахнет!

Хотя гвоздики издавали банальный запах гвоздик.

Вова, довольный и радостный, с улыбкой победителя и властелина смотрел на жену.

Увидев корзину с сиренью, нахмурился:

– А это... Что за дела?

Глаза его потемнели.

Люба махнула рукой, небрежно задвинула корзину ногой под табуретку и коротко бросила:

– Да так, ерунда! Немец шалит! На прощание, наверное...

И снова, блаженно зажмурив глаза, уткнулась в гвоздики супруга.

Вова расслабился, вздохнул, успокоился и широко улыбнулся.

Потом скинул пальто, снял ботинки и, посмотрев на жену, уткнувшуюся в его скромный букет, довольно сказал:

– Да ладно, хватит, Любань! Подумаешь... Да я для тебя!..

Очнувшись, Люба бросилась ставить гвоздики в вазу. А поставив, отошла на пару шагов – полюбоваться. У двери в кухню еще раз обернулась, бросив взгляд на цветы.

Вова сидел за столом и мазал горбушку черного хлеба горчицей.

– Не хватай раньше времени! – строго прикрикнула Люба и принялась наливать ему горячего супа. Вспомнила про сметану, положила полную ложку и села напротив.

...Женщина всегда готова замереть перед любимым. Особенно... когда он ест. И особенно – с аппетитом!

А еще – готова простить ему все. Ну, если он действительно... любимый мужчина!

## **Зачем вы, девочки...**

Зинаида точно не входила в число любимых учителей.

Почему? Да все просто – она не была нам интересна. Нам нравилась молодая русичка – красивая, яркая. Еще в фаворитах ходили географичка и англичанка – первая умела увлечь, а вторая, Светочка, – о ней ниже – была просто модницей и красоткой.

А труд – ну это вообще, знаете! Кому из подростков мог нравиться этот урок? Смешно! Имелось в виду, что нас должны научить трудиться. Привить навыки, что ли? Причем навыки четко делились по гендерному признаку. Девочки должны были стать хорошими и примерными хозяйшками – уметь готовить и шить. А кому охота заниматься подобной чушью в четырнадцать лет? Например, шить фартуки и мужские трусы. Или делать мережки на кухонных полотенцах. Или варить щи – постные за неимением мяса. Не до экспериментов было в советское время, чтобы мясо переводить на уроке!

Мальчики же строгаи бессмысленные табуретки и скворечники.

Словом, из нас делали женщин, а из них – мужиков.

Девчачий кабинет труда находился на первом этаже, по дороге в буфет и ровно напротив библиотеки. Кабинет труда мужеского – в подвале и назывался строго: «Мастерская».

В девчачьем на столах стояли швейные машинки, и однажды появилась плита – электрическая «Лысьва», раскочегарить которую было огромным испытанием.

Трудяша – а мы называли ее именно так (кстати, теперь я уловила в этом слове мимолетную нежность) – была женщиной крупной, тяжелой, даже громоздкой. На голове – жидкая примитивная «химия» мелким бесом, черные брови (немилосердный какой-то цвет) и морковная помада. В ушах – ярко-красные «леденцы», конечно же, в розовом золоте. На пальце – кольцо из той же серии, типа комплект.

Одевалась она серо и скучно – черная или коричневая юбка, невнятная блузка и туфли мужского покроя. А поди достань тогда что-то веселенькое такого-то размера! Да и, наверное, ей казалось, что учитель должен выглядеть скромно и строго – этакий дресс-код советских времен.

Теткой она была не вредной, но такой постной и скучной, что...

Относились мы к ней с терпеливой скукой, как к неизбежности, что ли. И еще со снисходительной насмешкой. Потому что знали – наша Зина

влюблена. В нашего же физрука, между прочим.

Начнем с того, что она была старше его – уже смешно, не так ли? Второе – Зина была нехороша собой, грузна и несимпатична. Безвкусна и простовата. Незатейлива и примитивна. А нате вам, влюблена! И самое смешное, что она и не думала это скрывать! Полоумная старуха, ей-богу!

А было той «старухе», думаю, лет пятьдесят с небольшим. Совсем с небольшим.

В ее голубых глазах застыли и ожидание, и надежда, и... Ну что там еще у влюбленных?

Не прячась от посторонних глаз, от учеников и коллег, не стесняясь, она на глазах у всей школы караулила предмет своих воздыханий у лестницы, ведущей из спортзала. В столовке брала ему обед и забивала место, чтобы сидеть рядом. А после уроков торчала на улице – поджидала любимого.

Тяготился ли этим физрук? Непонятно. Но злости или раздражения видно не было. Заботу он снисходительно принимал.

Физрука звали Сергей Анатольевич. Был он строен, мускулист и совершенно обычен. Стандартен. Обычный такой мужичок из толпы, ничего примечательного – слегка кудряв, слегка сед, в меру курнос. Подбородок, правда, выдавал в нем сильную личность – тяжеловатый, квадратный, с риской посередине – настоящий брутал, так объяснялась эта анатомическая особенность.

Был он не вредным, но неспособных к предмету слегка презирал. В эту презираемую группу входили и мы с Танькой – неспортивные, да.

«Через козла и по пять раз» – такое было наказание за нашу лень и сачкование. («Нам сегодня нельзя» – нехитрая уловка, помните?)

Через козла – это было сурово. Черный кожаный козел был нам, неспортивным «сачкам», страшен и ненавистен.

«Сам ты козел!» – цедили мы и прыгать отказывались. Физрук равнодушно ставил двойки и игнорировал нас.

Утешали его любимицы – Терентьева и Плешакова. Олимпийский резерв, услада для сердца и глаз. Жилистая Терентьева и мелкая, юркая Плешакова козел брали на раз. Мы презрительно хмыкали и отводили глаза. В четверти, конечно же, выводилась жалкая тройка – совершенно, кстати, нас не унижающая.

Сшив по паре фартуков из копеечного ситца и подарив их бабушкам и мамам на Восьмое марта, мы принялись за кулинарию.

Были освоены постные щи и испечены оладьи. И исполнен ну очень модный салат «Мимоза» – правда, не с горбушей (а кто поделится

дефицитом? Никто, схроны свои хозяйки берегли пуще глаза). «Мимозу» пришлось делать из сайры – тогда еще по рублю и из свободного доступа.

И наступила пора печенья. «Печенье с творогом к чаю» – так волшебной звучала тема урока. И в этом читались уже какая-то свобода и даже творчество. Чувствовались запахи корицы и ванилина – они еще были в продаже. Словом, воцарилась атмосфера домашнего уюта и тепла.

Настал день печенья. Творог – кислый до оскомины, из целлофановой кишки – в печенье оказался вполне удобоварим.

Вырезали мы тестяные кругляши обычной рюмочкой, присыпали сверху сахаром и глотали слюну в предвкушении.

– На чаепитие надо позвать мальчиков! – со вздохом сказала трудяша. Видно, что в восторг это ее совсем не приводило.

– Да ну их! – дружно отозвались мы. – Кормить еще этих дураков!

И Зина с облегчением согласилась.

Печеньки были вынуты из духовки и, надо сказать, выглядели вполне симпатично.

– Слушай, Громова, – дрогнувшим голосом обратилась наша Зина к Наташке Громовой, – сходи-ка ты к Анатоличу! Пригласи его на чай, а? – В голосе ее слышались и мольба, и ожидание. И конечно, смущение.

Громова заартачилась:

– Не пойду, Зинаид Васильн! Ну при чем ты ваш Анатолич? Да у него и урок поди!

– Громова! – зычно гаркнула Зина. – Ты что хамишь? Ты же комсорг! Иди и приведи! – и тихо добавила: – Одинокий мужчина, что тебе, жалко? А урока у него сейчас нет. Слышь, Громова? Сходи! Ну будь ласка!

Наташка вздохнула, видом своим показывая, что делает одолжение, о котором Зина будет помнить всю жизнь, и медленно вышла из класса.

Физрук не «повелся» – Наташка с ехидной улыбочкой доложила:

– Да отказался он! Сказал, неудобно!

Бедная Зина побледнела и очень расстроилась. Встала у окна и загрустила. Совсем загрустила, совсем. А потом встрепенулась:

– Громова! А ты ему отнеси, ну раз прийти сам не может!

Наташка подняла черные очи к плохо побеленному, в желтых разводах потолку и процедила:

– Ну ладно! Так и быть, отнесу! Что с вами делать! Женская солидарность!

Зина ловко и быстро выложила печеньки на блюде, выстланное белой салфеткой, налила в чашку (она называла ее – «бокал») крепкий, почти черный, чай со смущенной оговоркой:

– Он любит крепкий!

И бедная Громова понесла угощение.

Зина глаз от двери не отводила. И только когда Наташка вернулась, она чуть расслабилась – угощение возлюбленный не отверг.

А потом Зина попросила спеть – бывало у нас и такое. Обращалась она ко мне и к Лариске – именно мы считались самыми голосистыми в классе. Репертуар наш был скромн и постоянен: «Зачем тебя я, милый мой, узнала» – раз. «Опустела без тебя земля» – два. И главный хит – «Зачем вы, девочки, красивых любите?».

– С какой начать? – услужливо спросили мы, все-таки жалея бедную Зину.

– С нашей, – попросила та.

И мы затянули, напирая на ключевое слово «зачем».

Зина по-прежнему стояла у окна, за которым неспешно шел крупный снег, укрывая крыши, фонари и дорожки. Было бело, красиво и грустно.

Песню мы пели, переглядываясь. И кто тут красивый? Наш Анатолич? Ха-ха!

Песни допели, печенье доели, Зина догрустила, и мы отправились по домам.

Кстати, с Анатоличем кокетничали и другие училки – все понятно, дефицит мужчин. Мужиков в школе было, собственно, трое – кроме физрука имелись физик и трудовик.

У физика было мясистое, какое-то помятое бабье лицо и абсолютно невнятная артикуляция – присутствовали и шепелявость, и легкая картавость, и пришепетывание. Понять его было сложно, да мы и не особенно пытались. Почему-то нас страшно веселила его присказка «У нас, у физиков». Наверное, все-таки физиками мы считали Ньютона и Резерфорда, а не нашего шепелявого.

Третьим был трудовик. Мы считали, что он похож на те табуретки, которые в течение долгих лет под его руководством мастерили наши мальчишки, – так же неказист, мал ростом, неумеренно широк и нелеп. Ходил он в черном сатиновом халате и в столовке брал два супа и три компота.

Как-то мы заметили, что Анатолич кокетничает с англичанкой Светочкой – так мы ее между собой называли. Во-первых, любили, а во-вторых, Светочка и вправду была именно Светочкой – мягкой, улыбчивой, очень сговорчивой и крайне доверчивой.

«Светлана Андреевна! – канючил кто-нибудь из нас. – Я к следующему уроку выучу, честно! Вот прям к следующему!»



«Правда? – спешила обрадоваться Светочка. – Ты мне обещаешь?»  
Конечно, мы обещали. И Светочка начинала радоваться заранее.

Была она очень стройной и очень модной блондинкой. Легкие кудряшки легкомысленно выпадали из подколотых в строгий пучок волос. Наивные глаза были распахнуты и доверчивы – подвоха, похоже, она ни от кого не ждала. А как Светочка одевалась! Каждый день мы бегали на второй этаж, где находился кабинет иностранного, посмотреть, в чем сегодня пришла наша Света.

И Света нас, надо сказать, не разочаровывала! А как изящно она украшала свои строгие костюмы и платья! Яркие шелковые шарфики, блестящие брошки и бусы, лаковые разноцветные пояса – она была женщиной стильной. Это бесспорно. К тому же молодой и хорошенькой. Это вам не тяжеловесная, мрачная и упертая Зина.

Застукали мы голубков у актового зала – Анатолич в спортивном костюме цвета электрик нашептывал Светочке что-то в изящное ушко, а она мило и тихо смеялась.

Мы подумали: бедная Зина! Где она и где Светочка? Теперь все понятно!

Думаю, Светочке такой кавалер, как Анатолич, был ни к чему – не первой свежести и бесперспективный. Но мужское внимание всегда приятно, ведь так?

А наша трудяша, похоже, ни о чем не догадывалась. По-прежнему забивала места в столовке, ждала Анатолича после уроков и активно душилась невозможными духами «Каменный цветок».

А вот на Девятое мая мы удивились. Точнее – ошолбенели. На скромном сером пиджаке нашей Зины красовались несколько медалей и орден. Оказывается, она была фронтовичкой.

Мы облепили ее и требовали подробностей. Зина махала руками, страшно краснела и выдавила из себя только: «Да, воевала. Да, партизанила. Да отстаньте вы, господа! Все воевали – что тут такого?» Но в тот день она была счастлива: столько цветов и столько восторженных слов! В актовом зале мы пели военные песни. А наша Зина, счастливая, радостная, улыбчивая и даже вполне симпатичная, подпевала нам из первого, почетного, ряда.

А потом трудяша сломала ногу. Нет, мы, разумеется, радовались! Но не этому грустному факту – бедная, бедная Зина! – а отмене уроков труда. Заменить трудяшу было некому, труд был по расписанию последним, и мы отправлялись гулять, на свободу!

А вскоре нас вызвала завуч и велела навестить бедную Зину.

– Никого у нее нет! – сурово отчеканила завуч. – А вы такие нахалки! Нет чтобы самим сообразить!

Мы только пожали плечами – сообразить? Да разве мы думали о какой-то училке? У нас, знаете ли, своих дел по горло! Но, поворчав слегка, все-таки пошли. Завуч дала нам три рубля – купить Зине «каких-нибудь фруктов».

Фруктов! Смешно. Из фруктов в овощном оказались только яблоки, и очень сомнительные, надо сказать. Зато нам сказочно повезло – на Ленинском, прямо на улице, на только что выставленном лотке, мы «оторвали» целую связку зеленоватых и твердых бананов. Хватило еще и на торт – пышный кремовый «Вацлавский», купленный в кулинарии «Гавана».

Зинина дверь была приоткрыта.

– Заходите! – крикнула она из глубины квартиры. – Двери не закрываю, то врач придет, то медсестра.

И мы зашли. Квартирка была однокомнатной, маленькой и какой-то темноватой – окна выходили на стену соседнего дома. Обстановка спартанская – диван-кровать, небольшой стол, пара стульев и старый шкаф с мутным зеркалом. Все. На столе стояла вазочка с тремя гвоздиками – интересно, откуда?

Перехватив наши удивленные взгляды, Зина похвасталась:

– Сергей Анатольич принес!

Ну ни фиги себе, а?

Бедная Зина кое-как, грохоча ногой в гипсе, переползала с дивана на стул.

– Вот не повезло, а, девчонки?

– Да уж, не повезло, – согласились мы.

А Зина продолжала сетовать:

– К сестре собиралась, в деревню! К двоюродной – другой родни у меня нет... И вот... – Потом обрадовалась: – Ну девки! А давайте пить чай! Торт какой принесли! Прямо королевский!

Мы заварили чай, накрыли стол и сели чаевничать. Только тогда разглядели и фотографии на стене: молодая Зина, хорошенькая, худенькая, с задорной улыбкой на скуластом лице, в военной форме – гимнастерка, перетянутая ремнем, узкая юбочка, пилотка кокетливо сдвинута набок. Ах, какая тонкая талия, какая высокая грудь! Какие стройные ножки! И надпись: «Наша любимая Зинуля с фронтовыми товарищами».

Перехватив наши взгляды, трудяша смутилась.

– Была Зинуля, да вся и сплыла, – с горечью сказала она. – Такие дела...

Мы затараторили:

– Нет, не согласны! Вы и сейчас молодая, Зинаида Васильевна!

В общем, кривили душой.

А потом Зина разговорилась. Да, там, в отряде, случилась любовь. Был, можно сказать, гражданский муж, Петя. Ох и красивый парень! И очень ее, свою Зинулю, любил. А потом... Погиб, да. Война...

– И ребеночка не родила, – вздохнула Зина. – А не от кого было. Не встретила никого после Пети...

Последние слова мы пропустили мимо ушей, потому что просто не поняли. Не поняли, что творилось в душе нашей Зины. Не поняли, что была она с душой, полной страстей – неслучившихся, неиспытых, непостигнутых и неизведанных.

И вдруг она улыбнулась.

– Ой, бананы! Девки! А если сожру – в макаку не обернусь? Я ведь такая – начну и уж не остановлюсь! Во всем я такая!

Мы загомонили:

– Да ешьте на здоровье!

– А вы пейте чай, девки! Торопитесь небось?

Мы торопились. Конечно, мы торопились! На весеннюю улицу, на гулянку, на свиданки, в кино. И, выпив чай, ушли, не предложив ни вымыть полы, ни протереть пыль, ни приготовить еду, ни сходить в магазин. Да что там – не предложили просто посидеть и поговорить с одинокой, больной и не очень молодой женщиной... Совсем одинокой – тогда мы поняли это окончательно... Но и это нас никак не задержало, увы...

А однажды я увидела, как Анатолийч, все в том же костюме электрик с глубоко расстегнутой молнией, чтобы продемонстрировать крепкую и широкую грудь, поросшую редким, седоватым волосом, клеится к Светочке в буфете, что-то рассказывает, как ему кажется, что-то очень смешное. Но Светочка только выдавливая из себя жалкую улыбку и пугливо оглядывается по сторонам – не видит ли кто, а Анатолийч этого не замечает – расправляет плечи, смеется и заглядывает Светочке в глаза.

Вскоре Светочка уволилась. Говорили, что вышла замуж и уехала в далекую африканскую страну в командировку.

Анатолийч явно грустит. И еще ужесточил воспитательные меры. «Через козла по шесть раз! – орал он. – А по канату вверх-вниз по три!»

Мы, сачки, пытались избежать пытки, подделывая медицинские справки.

И вот новость. В аккурат после зимних каникул стало известно, что наш Анатолич женился! Ну ничего себе, а? Старый ведь холостяк, кто мог подумать?

Женился он на училке младших классов – тихой, незаметной, бесцветной – словом, никакой. Да еще и с двумя детьми. На перемене мы побежали к малышам, чтобы ее рассмотреть. И вправду никакая – худенькая, невысокая, с плохо покрашенной кичкой на затылке. Глаза грустные и почему-то испуганные.

Мы переглянулись и подумали про бедную Зину.

В школу наша трудяша вернулась нескоро. Теперь она ходила с палочкой, довольно сильно припадая на «испорченную» – ее слова – ногу.

Она совсем потеряла свой пыл и задор – прическу уже не делала, и совершенно седые волосы были прихвачены в хвост аптечной резинкой. Брови и ресницы она больше не красила, да и губы тоже. Старушка – и все тут. Куда делась наша боевая и бойкая Зина? На уроках она грустила, замирала у окна. Что мы там шили, перешивали или готовили, ее уже не волновало. Всем подряд лепила пятерки.

Спеть попросила только однажды. Но я тогда была сильно простужена, а Лариска просто не пришла в школу. Получалось, что петь некому.

– А может, стихи? – подняла руку Алка Гвоздева. – Ну, про любовь?

Зина пожала плечами и махнула рукой:

– Давай... Что поделать. Стихи так стихи.

Алка встала из-за парты, одернула черный фартук, чуть кашлянула и начала, с пафосом и с выражением. Со скорбью и горечью.

Вчера еще – в ногах лежал!  
Равнял с Китайскою державою!  
Враз обе рученьки разжал, —  
Жизнь выпала – копейкой ржавою!

Детоубийцей на суду  
Стою – немилая, несмелая.  
Я и в аду тебе скажу:  
«Мой милый, что тебе я сделала?»»

Последнюю строчку Алка выкрикнула истерично и страстно. И все

мы, сидевшие в странном оцепенении, вздрогнули. Кто-то даже икнул.

Только наша Зина сидела, по-прежнему замерев, застыв, словно заледенев. Мы с испугом смотрели на нее. Казалось, она была спокойна. Через пару минут она, словно очнувшись, ровным, спокойным и четким голосом сказала:

– Хорошие стихи, Гвоздева! Справедливые. Правдивые очень! Сама написала?

В классе повисла гнетущая тишина. Мы переглянулись и опустили глаза. Раздался тихий и мерзкий смешок – конечно, Козленко, наша отличница. Козленко по прозвищу Коза не думала о любви – куда там! Она думала об аттестате! Что с нее взять? А мы только и мечтали о любви... На аттестат мы плевали!

Довольно скоро Зина ушла из школы – видимо, совсем не было сил. Ни физических, ни душевных. Мы после выпускного разлетелись – у всех своя жизнь. Кому-то повезло, кому-то не очень – обычная история.

Пару раз, пробегая мимо Зининого дома, я видела ее на лавочке. Стала она совсем старенькой, сморщенной старушонкой. Ничего от стати и бывшего величия и не осталось.

Сидела она на лавочке и смотрела куда-то вдаль – словно видела там что-то свое, непонятное нам, проходящим и пробегавшим мимо нее, мимо ее воспоминаний, мимо ее уже уходящей и гаснущей жизни...

Спустя несколько лет я встретила Анатолича с сеткой-авоськой, набитой картошкой, капустой и прочей снедью. Встретила его у дома Зины-трудяши.

Он, как ни странно, меня узнал – вот чудеса! А мог бы забыть как страшный сон такую «спортсменку».

– Как живешь? – коротко спросил он.

– Нормально, – ответила я. Не вдаваться же в подробности, правда?

– А я вот к Зинаиде Васильне! – пояснил он. – Совсем плохая стала, из дому почти не выходит!

Махнул рукой и бодро порыскал дальше. Он был по-прежнему крепок, жилист и бодр. Физкультурник!

«Надо же, – подумала я. – Опекает Зину! Какой молодец!» А мы так к ней и не сходили. Хотя пару раз давали себе честное слово.

Да, не сходили... Не собрались. Сами понимаете, у всех своя жизнь. И кто нам была эта Зина? Смешная, нелепая, немолодая женщина с горячим и, видимо, еще молодым сердцем...

Почему я вспомнила эту историю? Да бог его знает. Хотя нет, не так.

Все происходит неспроста, как ни странно. Все чему-нибудь учит. Все люди, судьбы которых пусть на минуту, пусть на короткие мгновения, пересеклись с нашими, встретились с нами не случайно! Уверена просто.

И эта история не исключение. Она нам показала, что любви все возрасты покорны и именно любовь держит нас на этой земле. А когда ее нет, человек сгорает, уходит.

И еще – наш немолодой и, казалось бы, суровый и простоватый физрук Анатолич преподал нам урок милосердия, равнодушия и ответственности.

Бедная Зина учила нас – вернее, пыталась научить – азам, примитивным и обязательным навыкам: вдеть резинку в трусы, вшить молнию в юбку, приготовить простецкий суп и салат.

Спасибо ей за это. Но, не ведая того, она научила нас и кое-чему другому. Надеюсь, понятно чему.

Жизнь научила нас, что одиночество – сволочь. Правильно поется в известной песне. Совершенно с этим согласна. Редкая сволочь, да.

И чтобы никому – никому, слышите? – с ним не столкнуться.

## Любовь к жизни

Плотная, коричневато-бежевая, чуть размытая временем фотография: Томочка в Крыму, в Коктебеле. У пенящейся кромки воды, на крупных, сглаженных временем камнях. Стройные ножки чуть согнуты в коленях, носки вытянуты, плечи развернуты, изящно выгнулась, оперлась на ладони, голова в белой панамке кокетливо откинута назад. Панамка надвинута низко – видимо, по моде тех лет. Чуть прикрытые глаза, славный вздернутый носик и пухлые губы – это уж совсем не по моде тех лет, но что есть, то есть.

Внизу вязью надпись – «Крым, Коктебель, 1933 г.». На оборотной стороне размашистым почерком от руки: «Томная Тома». Остроумно. И по делу. И правда томная. К тому же каламбур. Автор неизвестен. Но предполагаем. Тогда, в 33-м, в самом разгаре был роман с Руководителем – так его обозначила сама Томочка. Правда, тогда же, параллельно, но все же боком, присутствовали и Художник, и Дантист. Нет-нет, Дантист был все же позже. Точно позже. Значительно. В Руководителя она была почти влюблена. Хотя насчет «влюблена» она слегка сомневалась, а вот «физическое притяжение» – ее формулировка – определенно имелось.

Спокойный, внушительный, уравновешенный Руководитель, привыкший, судя по всему, держать себя в рамках повсеместно, в близости был необуздан, напорист, несдержан и почти яростен. Томочка вздрагивала, трепетала, пугалась, терялась, но в конечном счете чувствовала в этом искренность и истинность и вскоре активно включилась в эту игру. Впрочем, это была не игра.

Закованный в пудовые гири по рукам и ногам эпохой, своей властью, высоким положением и четко обозначенной ролью, этот суровый сорокалетний неглупый человек понимал все и вся и оттого боялся всего и вся. «Застегнутый на все пуговицы» на службе, несущий на себе непомерный, нечеловеческий груз ответственности, не расслабляющийся даже дома, в кругу семьи – верной жены и двух дочерей-близняшек, с Томочкой, единственно с ней, на ее узком диванчике с высокой спинкой и полочкой над спинкой, где дружно, гуськом, стояли мраморные слоники (старший с отбитым хоботом, младший – без одного уха), только там, в ее узкой, как пенал, и темноватой комнатке, при плотно зашторенных окнах и слабom, желтоватом свете ночника, он наконец-то становился самим собой.

Она пленяла его спокойным нравом, тихим голосом – мягким и

певучим, с утраченным «л», который звучал у нее как мягкий польский «в», шелковистой, без единой помарки, кожей, полным отсутствием какой-либо растительности на руках и ногах, нежными, словно детскими, пятками, тонкими щиколотками и запястьями, трогательной хрупкой шеей, запахом ландыша в яремной ямке, прелестным нежным лицом, темными, почти без зрачков, глазами, вздернутым самую малость коротким, четким изящным носом – словом, всем-всем, от начала и до конца, сверху донизу со всеми подробными остановками, эта молодая женщина была прелестна, нежна, хрупка, чувственна, открыта и восхитительна. Умна ли? Да какая разница, при всех вышеперечисленных достоинствах? Не болтлива и сдержанна – вполне хватит. А как умилительно и трогательно она сводит тонкие, выщипанные в нитку, по моде, брови! Видимо, это означает работу мысли. Чуть-чуть, слегка она покусывает полные, мягкие губы, чуть вздрагивает круглый, нежный подбородок, вспыхивают и гаснут глаза. Нежные пальцы вращают узкое колечко с синим тусклым камушком и обнимают тонкими руками круглые колени. Ничего не требует и не просит – никогда. Но конечно же, конечно, как всякая истинная женщина, радуется подаркам. Накидывает на хрупкие плечи шаль, гладит нежный маслянистый мех котикового мантио: раз, два – по шерсти и против. Вытягивает прелестную ногу, зашнуровывая ботиночек, и поворачивает носок – влево и вправо. И все это так поразительно, невозможно отличает ее от жены! Боже мой! Как с этим жить, как смириться, что она – только один раз в неделю, ну, максимум – два, но это редко. А все остальное время – жизнь без нее, без ее запаха, голоса, нежного, тихого шепота. Без ее узкой, темной комнаты, где единственно счастлив он и где он настоящий, живой.

А дома его ждет жена, молчаливая, с узким сухим лицом, длинным хрящеватым носом, в байковом халате неопределенного цвета и вязаных носках на тощих, сухих ногах. И две девочки-близняшки, лицом в мать: такие же молчаливые и угрюмые, всегда глядящие на него со страхом, тревогой, исподлобья. Этот нелепый союз проигран изначально, но вполне объясним – брак с родной сестрой друга детства, теперь крупного партийного деятеля.

Глупо, по-мальчишески, напившись однажды в их доме, заснул почти в беспамятстве на жесткой кушетке в библиотеке, а утром рядом обнаружилась она – «прекрасная Сильфида». Продрав глаза, он с испугом и даже ужасом увидел на подушке ее лицо и спросонок ничего не понял, решил, что рядом спит какой-то мужик. Конечно, он не подумал о содомском грехе, а мелькнула мысль об еще одном сильно перебравшем соратнике. А когда дошло, что это сестра его шефа, змейкой пробежала



мысль – подложили. Ловко обтяпали. Ей, уж конечно, давно пора замуж, а здесь такая оказия. Тут дверь в библиотеку распахнулась, и в комнату зашел, собственно, сам братец, почти прослезился и обнял его по-свойски, по-родственному. Через две недели сыграли свадьбу. А через два месяца он получил пост директора крупнейшего шарикоподшипникового завода. Дальше – больше: квартира в Доме на набережной, служебная дача в Барвихе. Через два года родились дочки. Дядька, будучи бездетным, племянниц обожал. Все. Мышеловка захлопнулась.

А потом он встретил Томочку. Она сидела в кадрах на его заводе. Судьба добавила акварели в его серую, скучную жизнь.

С женой интимная жизнь, прежде и без того редкая, естественно, закончилась. Но он был потрясен и поражен, когда на одном из семейных праздников шурин по-отечески похлопал его по плечу, понимающе подморгнул и по-дружески попросил все же сестру не обижать. «Делай свои дела тихо. Тихохонько. Внял?» Тогда, в 33-м, при всей строжайшей конспирации, они все-таки урвали свои три дня – у него случилась командировка, а она уже отдыхала в Крыму, где они, собственно, и встретились. Там, в душной, маленькой мазанке с грязноватой марлей на окне, на пружинном скрипучем матрасе, они забыли о всякой предосторожности.

А спустя месяц беременная Томочка, не боясь соседей, в голос рыдала в своей комнате, забившись с ногами в угол черного кожаного дивана. Он долго молчал, курил одну папиросу за другой, а она вскакивала и судорожно дергала ручку форточки. Потом у нее начинался нервный приступ: несдерживаемая икота, на лбу и щеках вспыхивали яркие, неровные, красные пятна. Он неловко пристраивался на край скользкого дивана, пытаясь поймать ее руки, погладить по голове, прижать к груди, но она была агрессивна и враждебна. В его адрес летели оскорбления и угрозы, претензии и, наконец, шантаж.

Она сначала кричала, что избавится от этого выродка, потом – что не будет вредить себе и делать подпольный аборт у полуграмотной, неряшливой деревенской бабки-знахарки. Вспоминала какую-то подругу, которая скончалась от кровотечения после подобного визита.

– Я своей жизнью рисковать не собираюсь. Я слишком люблю ее, жизнь, – зловещим шепотом предупреждала она, подойдя к нему почти вплотную, и глаза ее были безумны. Потом она садилась на стул, хватала его папиросу, закуривала, закинув ногу на ногу, начинала хохотать, а через несколько минут у нее открывалась рвота, и она, не двигаясь с места, отпихивала рукой битый эмалированный таз, который он пытался ей

подставить. Он судорожно хватал тряпку и собирал исторгавшееся из нее – с пола, стула, стола. Потом пытался напоить ее водой – она с силой отталкивала его руку. Пытался снять с нее загаженный халат – она вырывалась и царапала его. Наконец она теряла силы, и он относил ее на руках на диван, укрывал одеялом, гасил ночник и долго, стоя у окна, курил в приоткрытую форточку. Он понимал – да, это истерика, да, скорее всего, манипуляции, – и все же, когда он вспоминал ее угрозы, становилось холодно на сердце и по спине текла холодная струйка липкого пота.

Первое свое обещание Томочка выполнила – в деревню к знахарке не поехала. Вскоре, поняв, что истерики ее не возымели действия – а действие ей нужно было только одно: немедленный развод и, естественно, регистрация брака, – в ее голове созрел план. Да, ребенка она донашивает и рожает, а после отказывается от него. Этот выход казался ей наименее травматичным. Все восемь месяцев Руководитель по-прежнему приезжал к ней, привозил продукты, пытался образумить, донести до нее наконец, что развод его невозможен, подобные вещи не приветствуются, да и шурин не успокоится – понятно. Он объяснял ей, что квартиру все равно оставит за женой и девочками, что из партии его, будьте уверены, попросят, с поста сместят.

– А нужен ли я тебе такой? – наконец сообразил спросить он.

Томочка внимательно посмотрела на него и вдруг, рассмеявшись, помотала изящной головкой в крупных темных кудрях:

– Нет, не нужен. За такого я могла бы выйти и раньше.

Он с облегчением вздохнул.

Но и второе обещание Томочка тоже сдержала. Родив (легко, кстати, и очень быстро) в роддоме на Арбате крупную, глазастую и вполне здоровую девочку, она отказалась от нее на второй день, не пожелав ни посмотреть на малышку, ни приложить ее к груди.

Не помогли уговоры ни сестер, ни нянечек, ни врачей. Товарки по палате перестали с ней общаться. Пришел даже главный врач – крупный, лысый, громогласный, хромой, с массивной тростью в руке. Он внимательно посмотрел на Томочку, задал ей пару вопросов, а потом, опираясь на трость, вышел из палаты и бросил одно слово: «Бесполезно».

Девочку оформили в Дом младенца. Томочка выписалась через пять дней, уточнив у палатной врачихи, все ли в порядке с ее здоровьем. Да, и еще, как справиться с молоком, чтобы не загубить свою молодую и прекрасную грудь. Пожилая врачиха долго молчала, тяжело вздыхала, потом ответила на все вопросы и попросила освободить кабинет.

А Томочка и не думала задерживаться. Еще чего! Ее беспокоило

теперь, что на пластмассовой гребенке остается много волос – Господи, целый пук! – и что от верхнего, правого, белоснежного жемчужного клыка откололся кусочек, она пробовала постоянно языком неровный, острый его край. Еще появился омерзительный синеватый рубец на бедре – это называлось растяжкой. В общем, без потерь не обошлось, расстраивалась она. Но грудь и талия, слава богу, на месте.

Когда ее любовник или, скорее всего, уже бывший любовник вечером заехал к ней, она холодно и спокойно сказала ему про девочку. Он, впрочем, уже был в курсе. Посмотрев на нее долгим и внимательным взглядом, словно пытаясь что-то понять и прочесть на ее хорошеньком, спокойном и бесстрастном лице, он тяжело вздохнул и сказал фразу, которая очень развеселила Томочку:

– Бог тебе судья.

Она рассмеялась и поинтересовалась, давно ли он, член партии с 20-го года, верит в Бога. Он не ответил и, резко развернувшись, вышел из комнаты.

Спустя месяц он оформил бумаги на удочерение и забрал девочку из Дома младенца. Его сухая и молчаливая жена тихо спросила только об одном – она хотела знать правду. Разговор был нелегкий, но он ничего не скрыл. Она слушала его молча, не задавая вопросов. За окном светало. Потом жена сказала:

– Пойдем спать, тебе ведь завтра рано вставать, – и, помолчав, добавила: – Впрочем, уже сегодня. – А потом, уже почти в дверях, обернувшись, сказала: – Да и у меня завтра хлопотный день. Нужно же подготовиться к выписке девочки – одеяльца, пеленки, ой, да, а кровать?

Она остановилась и с тревогой посмотрела на мужа. Он ничего не ответил, только кивнул и отвернулся к окну. Не хотелось, чтобы она увидела его слезы. Может быть, зря. Под утро – сна, конечно, не было ни минуты – он смотрел на спину жены: худую, костлявую, с острыми лопатками и бледной кожей, на простые, широкие бретельки ее дешевой ночной сорочки. На все это, такое известное и знакомое, вызывающее раньше только раздражение, отторжение и неприязнь, даже какую-то физическую брезгливость, он смотрел сейчас с новым, незнакомым ему прежде чувством. Нет, наверное, все-таки не нежности, но благодарности и даже какого-то умиления.

Бумаги на девочку оформили довольно быстро: люди с положением, прекрасные рекомендации, жилищные условия – все в порядке. Но все же правду скрыть не удалось. Неизвестно, как проскользнула все-таки, проскочила узкой змейкой информация: девочка-то не чужая и взяли ее не

просто так, а с умыслом. Были и партком, и письмо в газету. Короче говоря, семья Руководителя пострадала. Влиятельный родственник, брат жены, прикрыл как смог, хотя зятю теперь руки не подавал. Руководителя понизили в должности с переводом на новый строящийся объект, отобрали дачу в Барвихе, урезали зарплату.

Он пережил это довольно легко, куда страшнее были душевная боль, раскаяние, мука. Но все это меркло и тускнело перед его невероятной любовью к девочке. Она и вправду была прехорошенькая: черные глаза, вздернутый носик, пухлый рот, темные, нежные кудри. Вылитая Томочка, одним словом. Он вскакивал к ней по ночам, когда она начинала тихонько покряхтывать, умилялся, как она морщит носик, обнажает беззубые жемчужные десны. Сердце падало, когда она поджимала ножки и на ее личике появлялась гримаса боли. Жена подавала ему теплую, проглаженную утюгом пеленку, и он осторожно расправлял ее на животике девочки.

Сестры, его старшие дочери, не отходили от кровати малышки, трогали ее нежные пальчики и нежно щекотали ее розовые, гладкие пяточки. Поведение жены было безукоризненным. И он, подчас наблюдая за ней исподволь, видел в ее глазах любовь и нежность к малышке. Теперь он торопился со службы домой, и вся семья ждала его к ужину – небывалое дело. Он наконец начал общаться со своими молчаливыми дочерьми и с удивлением узнал, что одна, оказывается, остроумна, а вторая начитанна и рассудительна. Однажды ночью чувство вины и благодарности захлестнуло его, и он попытался обнять жену, но она отодвинулась на край кровати и отвела его руку, а потом повернулась к нему, и он увидел слезы в ее глазах. Она тихо сказала:

– Не надо, не мучай себя.

И он вдруг спросил с надеждой, сам не ожидая этого от себя:

– Но, может быть, когда-нибудь что-то наладится?

– Не знаю, – помолчав, честно ответила жена.

Он тогда понял – не простила. Страдает. Ах, как он ее понимал! Наверное, впервые в жизни.

А Томочка быстро оправилась после родов. Измеряла сантиметром талию – уф, слава богу, все в порядке. Ни миллиметра не прибавилось! Мазала голову репейным маслом – волосы, по счастью, перестали выпадать. Заказала у портнихи новое платье – по бежевому фону мелкие букетики голубых незабудок. Купила замшевые туфельки с перепонкой и кнопочкой. Готовилась к весне. Апрель выдался теплым, и уже в конце месяца она надела обнови.

Тогда, в апреле, она и встретила на Арбате своего старого приятеля – Художника. Он шел, как всегда, немного шаркая, прихрамывая (у него была больная нога), в светлом габардиновом плаще и черной беретке на голове. Томочка остановилась, дотронулась до его руки и рассмеялась:

– Господи, ну неужели тебе не жарко?

Он грустно улыбнулся:

– Знаешь, недавно болел ангиной да еще и радикулит.

– Нет, нет, – засмеялась Томочка. – Ничего этого слушать не желаю. Весна, солнце, никакого нытья.

Он слегка оживился, глядя на ее прелестное, улыбающееся лицо, любуясь ее милыми гримасками, тонкой талией, стройными ногами.

– Ну, может быть, ты созрела наконец и готова мне позировать? – спросил он с надеждой.

Она рассмеялась:

– Да, а что? Почему бы и нет? Теперь у меня уйма свободного времени!

Они начали встречаться в его квартире, в полуподвале в Колокольном переулке. В одной из двух маленьких смежных комнат стоял его мольберт и были разбросаны кисти, банки с растворителями и тюбики с красками, там же были его кушетка, покрытая узбекским сюзане, и шаткая табуретка с пепельницей и деревенским глиняным кувшином с сухоцветом. Во второй комнате жила его мать – почти слепая и глухая полусумасшедшая старуха, которая, вызывая сына, стучала палкой по стене. Он заходил, выносил горшок и кормил ее с ложки. После этого она надолго затихала.

Он устраивал Томочку на кушетку, просил слегка поджать ноги и положить голову на руку. У нее быстро уставала спина, она вытягивала ноги и потягивалась, как кошка. Он злился и требовал «вернуть композицию». Иногда она засыпала и слышала сквозь сон, как он поправляет ей волосы и складки платья. А иногда она подолгу смотрела на него, и ей очень нравилось его тонкое, бледное, нервное лицо – серые глаза, темные, почти сросшиеся у переносья брови, узкий подвижный рот. Она начинала о чем-то болтать, а он, увлеченный работой, либо отвечал невпопад, либо не отвечал вовсе. Тогда она обижалась, надувала губки, хмурила брови, капризничала, пугала его, что больше не придет. Он тяжело вздыхал, бросал кисти и шел к ней. Она щекотала его за ушами, перебирала густые, волнистые, длинные волосы, что-то шептала, вытягивалась в струнку, сворачивалась в клубок, и он терял от нее голову, говорил ей безумные, страстные слова, а она тихо смеялась и отворачивала лицо. Ей очень нравился получившийся портрет, и она просила отдать ей его.

Художник тяжело расставался со своими работами и все тянул, обещая отдать после выставки, только после выставки. Но выставка не состоялась. Началась война. На фронт его не взяли по здоровью. Он попросился в ополчение и вернулся оттуда через месяц с тяжелой пневмонией. Томочка тогда его почти не навещала – так, была один или два раза. Старуха била палкой по стене и что-то гортанно кричала, в комнате пахло мочой и безумием. Сосед отоваривал их карточки и приносил им кипяток. Однажды Томочка забежала попрощаться – предлог, честно говоря, ей хотелось забрать портрет. Художник был очень слаб – у него обнаружили туберкулез, открытую форму. Махнул рукой на портрет:

– Забирай.

Она сказала ему, что домоуправление, куда она недавно перешла работать с завода – удобно, прямо во дворе дома, деньги те же, только нет никаких косых взглядов и «кривых рож», – эвакуируют в Татарию. Он тяжело приподнялся на подушках, долго и мучительно кашлял, а потом попросил ее отоварить талоны на муку – целый пуд, на двух человек, на него и старуху мать.

– Совсем нет сил, – объяснил он. – Говорят, надо стоять по шесть часов, соседа попросить не могу – он сутками на работе. Спаси, Томочка! Иначе сгинем, пропадем. Мать все время просит есть! А у меня нет сил вынести за ней горшок.

«Господи! На воздух, скорее на воздух, – пронеслось у нее в голове. – Иначе я прямо здесь грохнусь в обморок – от этого ужаса, этой вони!» Она схватила талоны и толкнула ногой дверь. В руках она держала свой портрет. Кружилась голова и дрожали ноги. Она быстро дошла до дома, торопливо разделась, встала на стул, сняла со стены фотографию родителей и повесила на освободившийся гвоздь портрет. Отошла чуть в сторону, улыбнулась и вслух сказала:

– Хороша!

Потом она выпила чаю, поела холодной пшенной каши и крепко уснула. Проснулась только к десяти утра – на работу ей было к обеду. В комнате было холодно, и вылезать из-под одеяла не хотелось совершенно. «Буду валяться!» – решила она. На следующий день она сговорилась с сотрудницей, и по очереди они отстояли за мукой. За это Томочка отвесила ей два килограмма. Муку она пересыпала в стеклянные банки, закрыла чистой льняной тряпичей – пришлось разорвать почти новую наволочку, очень жалко – и поставила банки под кровать. Вечером она напекла блинов – целую гору. Еще оставалось полбанки клубничного варенья. Ах, какое удовольствие она получила от ужина, впервые наплевав на свою талию.

Захотелось спать. Уже засыпая, тепло, под двумя одеялами, она свернулась в клубок – мелькнула мысль про Художника. Стало как-то неприятно. «Да ну! – решила Томочка. – Им все равно уже не помочь: и он не жилец, и его мамаша. А я продержусь о-го-го». Но все-таки царапало по сердцу. Неприятно. Потом она стала мечтать, что муку можно поменять на сахар – она очень любила сладкий чай – и даже на масло. Томочка мечтательно вздохнула и... тут же уснула.

Через неделю она уезжала в Татарию. Муку пересыпала в наволочку – сколько смогла унести, остальную оставила там же, под кроватью. Нежно упаковала свой портрет в старый пододеяльник и поставила за шифоньер. В чемодан положила любимые платья, кофточки, новые туфельки на каблуке, пару белья, покрутилась по комнате – ах, да – еще пудру и духи. Фотография родителей осталась лежать на подоконнике.

В Татарии она оказалась в колхозе – прежде передовом. Заправлял всем старый председатель – крепкий пятидесятилетний мужик без одной ноги – по этой причине его не взяли на фронт. Поселили Томочку у бабушки Юлдуз. Старушка была крошечного роста, круглая, как колобок, в белом платочке по самые брови. Целый день она крутилась по хозяйству – мела избу, ходила за курами, коровой, ныряла в погреб за картошкой, варила густой суп с квадратной лапшой, которую тут же ловкими и быстрыми движениями резала сама. А вечерами молилась. На фронт ушли трое ее сыновей.

Томочке она выделила закут с железной кроватью на панцирной сетке, уютной, мягчайшей периной и двумя подушками из гусяного пуха. Томочка ей подарила свою шаль – по синему фону красные розы, – отсыпала муки, и бабушка Юлдуз сказала, что кормиться они будут вместе. Вечером зашел председатель, Томочка сидела на кровати, закутавшись в пуховый платок, и плакала, глядя на кирзовые сапоги, телогрейку и брезентовые варежки, выданные ей накануне. Завтра ей предстояло выйти в поле – собирать морковь и свеклу.

Председатель долго смотрел на нее, потом тяжело вздохнул и сказал:

– Куда вам в поля! Приходите с утра в контору – будете помогать бухгалтеру. – Развернулся и резко вышел, стуча протезом по деревянному полу.

– А ты понравилась ему, девка, – усмехнулась старая татарка. – Вообще-то Иваныч у нас мужик суровый, нежалостливый. Живет бобылем – жена его померла, третий год как. Честный мужик, справедливый. До баб не жадный.

Томочка снесла телогрейку и сапоги в сени. На работу она ходила в

старом котиковом жакете, подаренном еще Руководителем, и фетровых ботах. Очень сэкономила пудру и помаду – их осталось совсем немного. Мазала руки на ночь топленным маслом, а лицо – сметаной. Готовила и прибиралась по-прежнему бабушка Юлдуз. Томочка приходила из конторы, ужинала и ложилась в кровать – слушала радио или читала книжки, взятые в библиотеке. Председатель, мужик, не искушенный в женском вопросе, лаской не избалованный, потерял голову от Томочки сразу и бесповоротно. Об этом, конечно же, заговорило все село. Приходил вечерами к бабушке Юлдуз, сидел часами, смущал Томочку. Она очень уставала, ей хотелось спать, а приходилось общаться, выдумывать темы для разговоров, рассказывать о себе. Сошлась она с ним месяца через два, и он предложил ей переехать в его дом. Томочка отказалась. К чему ей это? Стирка, готовка, огород – обычная бабская работа, от нее не открутишься, все на глазах, все на виду. А здесь, у старухи, она на всем готовом – даже тарелку за собой не моет. Маникюра и лака на ногтях, конечно, нет, но руки свои она сохранила вполне. Ему так объясняла свой отказ:

– Погоди, еще мало времени прошло, да и что люди скажут? Бабы сейчас до мужиков голодные, у всех мужья на фронте, а ты не с местной сошелся, с заезжей столичной цацей.

– Так и так же все знают, – удивился он.

– Знать-то знают, а в глаза никто не колет. К чему людей дразнить? У всех горе, а мы тут семью затеваем. Погоди, вот война кончится и заживем общим домом, – разумно отвечала Томочка.

– А не сбежишь в Москву? – прищурясь и помолчав, спросил он.

– Привыкла я к тебе, – тихо сказала Томочка, опустив глаза.

– Привыкла? – переспросил он. – Привыкла ты, а я за тебя жизнь готов отдать! – Он вздохнул и вышел из избы.

Из города он всегда привозил ей подарки, что смог достать – то кулек карамелек, то рассыпной чай, то шматок сала, то теплый платок, то кусок земляничного мыла. А однажды привез флакончик духов «Белая сирень», и глаза его светились, когда он видел, как она радуется.

Говорил, что после войны поднимет колхоз, поставит новую большую избу – что ей в старой и темной хозяйничать!

– А то и сына мне родишь, а, Тома?

– Поживем – увидим, – уклончиво отвечала Томочка, свежая, с тонкими нежными пальчиками, изящными ножками в новых чулочках. Тонкая талия, темные кудри, нежный запах сирени.

Пожили. Увидели. Вернее, увидел он, Председатель – пустую кровать и отсутствие вещей в доме бабушки Юлдуз. И естественно, отсутствие



самой жилички. В 44-м, когда уже можно было уезжать в Москву, Томочка тихонько собрала вещи, договорилась с подводой и, когда Председатель уехал на два дня по делам, тихохонько отбыла, ни с кем не попрощавшись, не оставив записки. Сказала только тихое «прощайте» своей доброй хозяйке. Бабушка Юлдуз стояла на крыльце, качала головой и вытирала слезы со старых сморщенных щек.

Председатель запил по-страшному, по-черному. Пил, пока хватало самогонки. Получил строгака по партийной линии. Хотели его снять – да не могли, заменить было нечем. Спустя месяц пришел в контору – черный с лица, но бабы его пожалели и простили – необъятны сердца русских женщин. Попивал он теперь постоянно и через полгода умер прямо в машине, сидя рядом с водителем: откинул голову, захрипел – и был таков. Врач в больнице сказал – разрыв сердца.

А Томочка уже вовсю обживалась в Москве. Прибралась в комнате, помыла окна, повесила портрет, постирала занавески, вытащила из-под кровати банки с мукой – фу, гадость, конечно же – завелись черви. Снесла банки на помойку. Вернулась на старую работу в домоуправление, в паспортный стол – занималась пропиской. Люди возвращались из эвакуации, с фронта, приходили к ней. Она на своем месте была царь и бог: захочет – отложит дело подальше, захочет – ускорит. Те, что посообразительнее, приносили подарки, Томочка цвела. Годы ее ничуть не испортили – та же нежная кожа, яркие глаза, изящная фигура. Опять встала на каблуки, достала любимые платья, сшила пару новых, ярко накрасила губы – свежая, надушенная, хорошенькая. Бархатная шляпка на пышных волосах, легкий шарфик на шее, брошка на кофточке.

Вскоре появился Дантист. Весьма банально – в 46-м, после Победы, в тридцать шесть лет, у нее заболел первый зуб – здоровье, надо сказать, у нее всегда было отменное. Три дня мучилась, прикладывала к десне толченый чеснок, ватку с водкой – ничего не помогало. Соседи посоветовали ей своего опытного врача.

– Опыт-ней-ше-го, – со значением сказала соседка, закатив глаза к потолку. – Попасть к нему невероятно сложно, но я все устрою, – таинственным шепотком добавила она.

На следующий день Томочка, дрожа от страха, опустилась на коричневое дерматиновое кресло в кабинете Дантиста. Было ему лет сорок – сорок пять – седоватый, длинноносый, с пронизательными и цепкими светлыми глазами, высокий, худощавый.

– Боитесь? – притворно удивился он.

Томочка сглотнула слюну и кивнула. Звякнули инструменты, и она,

жмурясь от страха, открыла рот. Зуб был запущен, и одним визитом не обошлось.

– Пульпит! – объявил Дантист и положил мышьяк.

Через два дня она пришла вновь, и он закончил работу. Она спросила его, сколько должна. Он усмехнулся и сказал, что денег с нее не возьмет, а вот прогулку в саду «Эрмитаж» она ему теперь должна.

Через месяц почти ежедневных свиданий Дантист сделал ей предложение. Конечно же Томочка согласилась. Нестарый, интересный, прекрасно одевается, элегантный. Ухаживает красиво – цветы, рестораны. Не жадный определенно. Правда, жилплощади в Москве нет – свои полдома в Болшеве, но это не беда. Свадьбу сыграли у него дома. Стол накрывала его старшая сестра, старая дева, обожавшая брата без меры. Фаршированная щука, куриный бульон, рубленая селедка, печенка с луком, штрудель с изюмом. Сестра, полная, некрасивая женщина лет пятидесяти трех, подавала на стол и украдкой вздыхала. Чуяло, чуяло ее умное сердце, что не та жена досталась любимому брату. Но дело сделано. Пришлось смириться. Стали жить в Болшеве. Дом был разделен на две половины, у каждого свой вход, своя кухня, своя душевая. Постарался покойный отец Дантиста – разумный человек. Томочке было грустно – гулять и созерцать она не любила, природу не чувствовала. Дантист уезжал на работу в Москву – она спала до полудня, потом пила кофе, читала журнал «Работница» и грустила. Обедов не варила, белье не гладила, иногда тряпчочкой пыль смахнет – и ладно. К вечеру заходила золовка. Молча проходила на кухню – проводила ревизию. Поднимала крышки от пустых кастрюль, громко и тяжело вздыхала и шла на свою половину. Возвращалась с кастрюлями и судочками. Преувеличенно громко гремела на кухне, заходила в комнату, смотрела на Томочку, наводившую перед зеркалом марафет, – на челочке одинокая папильотка, брови подщипаны, носик напудрен, губы накрашены. Никаких халатов – юбочка, блузочка. Брошка у воротника. Томочка оборачивалась к ней и вопросительно вскидывала тонкие брови. Чего, мол, надо? Золовка опять тяжело вздыхала, топталась у двери и уходила к себе.

«А может, это справедливо? – горестно вздыхала она на своей половине. – Такой вот пустышке достался достойный человек, а я? Кому нужны мои котлеты и пироги, кому нужна я – старая, неухоженная, рассыпающаяся колода? Была в жизни пара-тройка мужиков, но как-то все не складывалось. Приходили, пили, ели, иногда оставались до утра. Так прошла жизнь. Черт с ней, с моей жизнью, но брата жалко до слез».

Иногда не выдерживала и выговаривала брату – тот смеялся,

отмахивался:

– Да бог с ней, что не бьется у плиты, зато встречает душистая, отдохнувшая, голову кладет на грудь. Не жена – украшение дома. И потом, – добавлял он шепотом, наклонившись к самому уху сестры, – я с ней счастлив. Понимаешь? Ну, как с женщиной, – уточнял он, чмокал сестру и, насвистывая, уходил к себе.

По выходным ездили в Москву – гости, театры, кино, магазины. В гостях было шумно и весело. Томочка оживала, много танцевала, громко смеялась. Талия девичья, ноги легкие, музыку чувствует. Дантист, не скрывая, любовался ею. Делал подарки. К Новому году, например, прекрасную шубу из серого каракуля – легкая, длинная, в пол, с воротником а-ля Мария Стюарт, широкими манжетами, летящей спиной, высокими плечами. Ко дню рождения – серьги: стрекозки – изумрудные глазки, рубинчики на спинке и крылышках. Продавала старая арбатская дама, из бывших, говорила, Франция, XVIII век.

Ходили в рестораны – Томочка обожала вкусно поесть. Откинувшись на стуле после сытного ужина, обмахивалась салфеткой, розовые щеки, глаза горели:

– Ах, как я люблю жизнь!

Он усмехался и давил «Беломор» в массивной пепельнице. Потом смотрел на нее долгим взглядом. Все понимал.

– Птичка божья, – вздыхал он и накидывал ей на плечи мантию.

В 51-м Дантиста взяли. Взяли из дома, в воскресенье, в пять утра. При обыске нашли зубное золото. Томочка тихо скулила в углу. Сестра собирала узел – сменное белье, теплые кальсоны, носки. В восемь утра Томочка, прихватив все свои вещи, уехала к себе в Колокольный. Ночь спала тревожно, утром собралась и поехала на вокзал, шла торопливо, оглядываясь. Ехала она к тетке, сестре покойной матери, в деревню под Смоленском. Одинокая тетка, добрая душа, была ей рада. Все вздыхала и кряхтела, что тяжело тащить одной огород, хозяйство, хотя какое там хозяйство – три курицы да старый, облезлый петух. Изба темная, грязная – тетка почти слепая. Жили на теткину пенсию – хлеб, картошка, капуста. В 53-м Томочка засобиравшись в Москву, вид у нее был не ах. Тетка плакала, целовала ее, она вырывалась – от тетки пахло погребом. Тетка просила ее не забывать. Томочка кивала, обещала выслать денег, как только сможет.

В Москве первым долгом сходила в парикмахерскую, сделала стрижку, укладку. Расплакалась, когда парикмахерша сказала, что пора закрашивать седину. Сделала маникюр, купила кремы – для рук, для лица. Проветрила шубу – не завелась ли моль. Отдала в починку ботики и босоножки.

Вымыла окна, протерла портрет – и опять заплакала: «Ах, какая я на нем молоденькая и хорошенькая!»

Жить было не на что – все подарки Дантиста конфисковали при обыске. В воскресенье она поехала в Болшево. В половине Дантиста горел свет, она постучала в окно – вышла молодая высокая женщина. У Томочки замерло сердце – женился, женился, и это при живой-то жене! Но нет, женщина объяснила, что комнаты она снимает с мужем и двумя детьми, а знать ничего не знает, и посоветовала постучать на половину к хозяйке. Так и сказала – к хозяйке. Видеть золовку совсем не хотелось, но деваться некуда – Томочка поднялась на шаткое крыльцо и постучала в дверь. Золовку она сразу не признала – на нее грозно смотрела седая, неопрятная, тучная старуха с палкой в руке. Обе, не сводя друг с друга глаз, молчали.

– Чего тебе? – спросила золовка.

– Вот, приехала, – пролепетала испуганно Томочка.

Золовка усмехнулась:

– Вижу, что приехала, и вижу, что выглядишь неплохо.

Опять замолчали.

– А как он, ваш брат? – тихо спросила она.

– Брат? – выкрикнула золовка. – Мне-то он брат, а тебе он кто? Может, забыла?

Томочка сжалась и испуганно заморгала.

– Чего явилась?! – Золовка почти перешла на крик.

– Да вещи кое-какие хотела забрать: тумбочку там, одежду, гитару... – оправдывалась Томочка.

– Вещи тебе? Какие тут твои вещи? Сбежала, как крыса, ни разу не объявилась, ничего не узнала, ни письма, ни передачи. Ты хоть бы сейчас спросила, где твой муж, а то – брат! – Женщина прислонилась к косяку и хрипло закашляла.

– Деньги, деньги еще, – бормотала Томочка. – Ведь были сберкнижки, а на них – деньги, я помню, я знаю, – повторяла она.

Сестра Дантиста выпрямилась, сделала шаг вперед и замахнулась на Томочку своей клюкой:

– Пошла отсюда, стерва, сволочь! Пошла с глаз долой! И попробуй приди еще сюда, зашибу насмерть, мне терять нечего, все потеряно. Муж твой в тюрьме повесился, а больше никого у меня нет!

Томочка опрометью бросилась к калитке. На станцию почти бежала.

– Старая сволочь, жирная гадина, и поделом тебе, поделом!

В электричке она совсем раскисла, хлюпала носом: нет, ну подумать только, какая гнусная баба. В чем обвиняла? В том, что Томочка хотела

жить, жить. Просто жить, и больше ничего. Разве это преступление – хотеть жить? Сама прожила, как собака в конуре, только и знала, что такое керогаз и кастрюли, и ее, Томочку, хочет туда же. Дома она успокоилась, выпила молока с медом, чтобы уснуть. Уснула.

Надо было устраиваться на работу – жить было не на что. Хотелось поближе к дому и не на полный рабочий день. Повезло – устроилась в магазин «Ткани», в бухгалтерию. Директором был немолодой, лысый и толстый Соломон Матвеевич. Сошлась она с ним через три месяца. Пригласила к себе. Он пришел с цветами и шампанским. Был уже порядком увлечен. Называл ее куколкой.

– Хорошенькая ты! – восхищался он. – Так бы целый день на тебя и любовался.

Но любоваться было некогда – Директор был деловой человек. У него, конечно, имелась семья – жена, сын, внуки. Но Томочку он боготворил – говорил, что сбросил с ней десяток лет. И вправду, мужчиной он оказался крепким не по годам. Томочку баловал, но осторожно. Крупных подарков не делал, так – часики, духи, отрезы на платье. Иногда подбрасывал денег. Наученная жизнью, Томочка их не тратила – откладывала. Жизнью своей была вполне довольна – понимала, не девочка уже, а тут ухажер не из последних. Замуж не хотела – хватит, побывала, получила потом одни попреки и претензии. В общем, жизнь наладилась вполне сносная.

А в 60-м Директора накрыли с какими-то махинациями. Был открытый суд, довольно громкое показательное дело. Томочка дрожала как осиновый лист: мало ли документов она подписала, не особо вглядываясь. На суде Директор вину признал и все взял на себя. Томочка проходила как свидетель. Дали ему пять лет, с учетом возраста, болезней и чистосердечного признания. На суде Томочка увидела семью Директора – жену, сына и невестку. Они смотрели на нее с ненавистью. Директор сидел, опустив голову, похудевший и постаревший. Томочка заметила, что у него дрожат руки. Из магазина она, понятное дело, ушла – на место директора поставили злобную тетку с орденскими планками на черном пиджаке. Томочке она в тот же день сунула под нос заявление по собственному желанию. Та особо не переживала – деньги у нее, слава богу, были, можно было тянуть до пенсии.

Но не сложилось – в реформу 61-го сгорело все дочи́ста. От такого кошмара и расстройства Томочка заболела – в первый раз в жизни и так серьезно. Надевая бюстгальтер, нащупала твердый шарик под левой грудью – удлинённый, как сливовая косточка. Наутро побежала к врачу. Из

больницы ее уже не отпустили. Вместе с опухолью заодно отняли всю грудь – прелестную, маленькую, совсем не увядшую Томочкину грудь.

Через месяц, выйдя из больницы, она подшила кусочки байки в правую чашечку бюстгальтера. В зеркало теперь на себя раздетую не смотрела – иначе сразу слезы, слезы. Такая фигура! Ножки, шея, руки – все сохранила, уберегла. И эта мерзость – выскоблено все до кости и ужасный лиловый шов. Дали инвалидность – копейки, конечно, еле сводила концы с концами. Пошла в булочную в соседний дом – сидела на кассе, завернувшись в серый пуховый платок, постоянно шмыгая носом – двери хлопали, открывались, и по ногам шел сквозняк. Обрезала старые валенки – под кассой не видно. Красила хной все еще густые волосы, губы – любимой красной помадой. Но себя не обманешь – видела в зеркале: усыхает, усыхает.

Теперь была одна радость – взять горячих бубликов и сайку с изюмом – и дома, вечером, со сладким чаем. С тоской смотрела на свой портрет – жизнь проскочила, пролетела. Хорошего в ней было – по пальцам пересчитаешь, а плохого на телегу не уложишь. Вскоре из булочной ушла, после воспаления легких, – от этих сквозняков никуда было не деться.

Однажды Томочка встала пораньше – обычно она любила поваляться часок в постели после сна. Вымыла голову, накрутила волосы на крупные бигуди, подщипала бровки, тщательно провела карандашиком помады по вытянутым трубочкой губам перед зеркалом, надела самый нарядный свитерок – светло-кремовый, с нежными розовыми розочками по декольте, только что отглаженную коричневую юбку-пятиклинку, новое пальто в крупную клетку (к пальто прилагался аналогичный беретик), взяла в руки замшевую сумочку с замком в виде плотного банта. Добрым словом помянула Директора, довольно оглядев себя в зеркало, почти с порога вернулась – ах, забыла – и подушилась любимыми духами «Белая сирень». На улице была ранняя весна – дневное солнце уже набрало свой обманчивый, короткий, почти летний жар, с крыш бойко рвалась частая капель, под ногами плавилась оставшиеся после зимы редкие проплешины снега.

Томочка, глядя на яркое, синее небо, жмурилась от слепящего солнца и легко, словно девочка, перебирая стройными ножками, лихо обходила, почти перескакивала частые лужи. Она шла по самому краю тротуара, опасливо вглядываясь в висевшие на крышах частоколом сосульки. До нужного ей дома она добралась примерно за час. Дом был по-прежнему мрачен и монументален. Во дворе она слегка замешкалась и заметалась, боясь перепутать подъезд. Но нет, память у нее, слава богу, была прекрасная. И очень удобная – помнилось только то, что хотелось. Эту

формулу она вывела для себя давно. К чему расстраиваться и вспоминать неприятности? Ни здоровья, ни красоты это не прибавляет. Плачешь, страдаешь, а толку? Расстроенные нервы, красные глаза, бессонная ночь. А жизнь-то одна. Другой не будет.

Она с трудом открыла чуть примерзшую дверь – парадное было с северной стороны – и вошла внутрь. Номер квартиры она помнила тоже прекрасно, хотя была там всего лишь однажды, поздно ночью, когда семья Руководителя отдыхала где-то на курорте, кажется, в Трускавце. Или в Ессентуках? Томочка на минуту задумалась и наморщила лоб. Дверь была все та же – массивная, деревянная, с потемневшей латунной ручкой. Она решительно нажала на кнопку звонка. Ей долго не открывали. «Неужели зря?» – огорченно подумала она и тут услышала звяканье дверной цепочки и звук открывающегося замка. На пороге стояла высокая худая старуха с лошадиным лицом, в старом, выношенном байковом халате. Она молча и внимательно посмотрела на нежданную гостью и наконец неласково спросила:

– Кого вам?

Томочка слегка растерялась, стушевалась, у нее запершило в горле, и она неловко произнесла:

– Послушайте, здесь жил...? – И она произнесла фамилию Руководителя.

Старуха молчала. Томочка нетерпеливо и настойчиво повторила:

– Жил, я вас спрашиваю.

– А кто ты такая, чтоб меня об этом спрашивать? – удивилась старуха.

– Поверьте, я имею к этому отношение, – горячо и убедительно заверила нелюбезную старуху настойчивая Томочка.

– Да? – Старуха вскинула бесцветные жидкие брови. – И какое же, интересно?

Тут Томочка совсем растерялась.

– Может, я могу пройти? – осторожно спросила она, оглядываясь на соседнюю дверь.

Старуха усмехнулась:

– Да ты не бойся, говори, зачем пришла.

– Видите ли, – бормотала Томочка, – дело личное, очень личное, даже, можно сказать, тайное. Все же будет лучше, если мы пройдем в квартиру.

Старуха посмотрела на нее тяжелым и пронзительным взглядом, а потом тихо сказала:

– А я ведь тебя узнала. Сразу узнала. Ты ведь с дочкой одно лицо. Лицо-то одно, только из нее человек получился, а не такая тварь, как ты.

Томочка задохнулась от неожиданности и обиды и даже отступила шаг назад от двери.

– Только не дочка она для тебя, поняла? – продолжала старуха. – Спустия почти тридцать лет явилась. Что, деньги нужны, старость подходит? Знаю я таких гадин, как ты!

– Что вы такое говорите! – лепетала Томочка. – Я просто пришла, просто, понимаете, ну, узнать, познакомиться. Что я, права не имею, по-вашему?

– А за двадцать восемь лет желания познакомиться не появлялось? – криво усмехнулась старуха. – О здоровье справиться, как живет дитя, как учится, что на завтрак ест? Как подымала я ее, когда ее отца в 39-м взяли без права переписки. Выжила ли в войну? Нет? В голову не приходило? Нет у тебя ни дочки, ни прав на нее. Ты ее в Дом малютки сдала и отказную подписала. И пошла отсюда, пока я милицию не вызвала, пошла вон, гадина. Из девочки человек получился, будь спокойна. И дорогу сюда забудь! Меня есть кому защитить – три зятя, внуки. Вон! – закричала она.

Томочка бросилась вниз по лестнице.

– Да что вы знаете о моей жизни? – крикнула она, сбежав на один пролет.

Дверь со стуком захлопнулась.

Томочка выскочила на улицу и громко разрыдалась. «Глупая, мерзкая баба, как он вообще мог прожить с ней столько лет», – думала возмущенная Томочка.

Добравшись до дома бегом, почти бегом, она сняла промокшие ботики, опустила ноги в таз с горячей водой – ах, не дай бог заболеть, у нее такие слабые легкие. Напилась горячего молока с медом – верное средство от расшалившихся нервов – и, укутавшись в одеяло, немного поворочавшись, все же уснула, шепча и уговаривая себя, что расстраиваться не стоит, ибо врач говорил, что все болезни от нервов, только от них. А болеть ей нельзя, никак нельзя, ведь даже стакан воды поднести некому. Она снова горько расплакалась, но вскоре, слава богу, уснула.

Через неделю в дверь раздались два коротких звонка. «Кого еще принесло?» – удивилась Томочка. На пороге стояла высокая некрасивая дама, впрочем, с породистым, крупным лицом, прекрасно одетая – Томочка тут же отметила и ее элегантную шляпку, и сумку в цвет, и мягкое шерстяное пальто, и тонкие лайковые перчатки. Дама щелчком открыла свою замечательную сумочку и быстрым движением достала широкий, плотный конверт из коричневой крафт-бумаги и, не снимая перчаток, протянула его Томочке.



– Надеюсь, вы нас больше не побеспокоите? – с усмешкой спросила дама, подняв левую четко прорисованную карандашом бровь.

Она шагнула к ступенькам, потом, слегка обернувшись, так, в четверть головы, бросила, высокомерно кивнув подбородком на конверт:

– Здесь, думаю, достаточно! – И деловым шагом стала спускаться вниз по лестнице, держась рукой за деревянные перила.

Растерянная, Томочка зашла в комнату и ножницами разрежала плотную бумагу. В конверте лежала изрядная сумма денег – она даже присвистнула от удивления.

\* \* \*

Томочка прожила долгую жизнь, пережив многих, да почти всех, кто встретился на ее жизненном пути. Старожилы еще почти двадцать лет могли наблюдать, как каждый полдень – обязательно – на Патрики приходит пожилая, но все же прекрасно сохранившаяся худенькая женщина в пожелтевшей от времени каракулевой серой шубе, кокетливом меховом берете, с палочкой в руке. Идет она медленно, осторожно – так опасен перелом шейки бедра у хрупких женщин, – но тем не менее не тяжело. На все еще приятном лице вполне живые, темные, совсем не стариковские глаза, рот аккуратно подкрашен помадой цвета спелой вишни, и это по-прежнему ей идет. В руке у нее газета и французская булочка за семь копеек. Она аккуратно расстилает на скамейке газету, садится и начинает крошить булочку. К ее по-прежнему стройным ногам собирается стайка курлычущих голубей. Она разговаривает с ними, уверенная, что они ее узнают и, как ей кажется, ждут именно ее. Обманчивое мартовское солнце уже прилично припекает, и она, закрыв глаза, подставляет ему свое лицо. Она не думает ни о чем – голова ее свободна и пуста. Она не знает ничего ни о своей когда-то оставленной дочери – красавице и прекрасном, достойном человеке, хорошем, кстати, враче, ничего не знает о ее детях – своих кровных внуках: двух мальчишках-погодках, вымахавших под метр девяносто, умниках и балагурах, уже студентах. Она не вспоминает мужчин, так любивших ее когда-то и оставленных ею. Она не знает ни мук, ни раскаяния, ей непонятны угрызения совести и чувство долга. К старости она не завела ни собаку, ни даже кота, считая эту привязанность обременительной. Она по-прежнему живет в своей комнате, похожей на пенал, и по-прежнему на стене висит ее портрет – прекрасный, надо сказать, портрет, написанный талантливым человеком, одним из тех, кто

любил ее когда-то.

Только портрет не стареет, а она, Томочка, увя, дряхлеет, дряхлеет, и это нельзя не признать. Чудес, описанных Оскаром Уайльдом, увя, не произошло. На портрете она по-прежнему молода и прекрасна. И это, пожалуй, единственное, что греет ей душу. Она блаженно прикрывает глаза под слегка дрожащими, увя, морщинистыми веками и засыпает со слабой улыбкой на все еще пухлых и мягких, представьте себе, губах. Засыпает навсегда. И падает ее маленькая рука в замшевой перчатке, вытертой до блеска, с остатками французской булочки. И крошки сыплются на пожелтевший и вытертый серый каракуль шубы, а ненасытные голуби недовольно и возмущенно курлычут у ее ног, и падает черная железная палка на землю.

И никто не поднимает ее – все спешат по своим делам.

И голуби разлетаются, невысоко подняв над грешной землей свои ожиревшие тела. Завтра хлеба покрошит им кто-нибудь другой. И кто-то из прохожих мимоходом удивится, как мило спит аккуратная и симпатичная старушка. И хватится старый дворник-татарин только к вечеру, когда стемнеет, увидев ее в той же позе, с той же слабой улыбкой на лице, и вызовет милицию.

Жизнь наконец ей ответила взаимностью и послала легкую смерть. Ей-богу, смешно – легкая жизнь, легкая смерть. Впрочем, не стоит завидовать. В чем же она, право, виновата? Она ведь так искренне любила эту несправедливую жизнь. Бедная, бедная, одинокая Томочка. Бог ей судья!

А вы говорите, по делам нашим...

## Легко на сердце

Встречались, как всегда, у станции метро «Университет». Таня пришла первой – от дома до метро было всего-то полторы-две минуты. Редкое счастье. Минут через пять появилась Галка – сгорбленная, маленькая, ставшая к старости совсем старушонкой. Хотя какая старость – всего-то шестьдесят лет, но она и в молодости была тощей, сутулой, сгорбленной какой-то. А сейчас и вовсе шаркала по земле, почти не отрывая ног. Таня тяжело вздохнула. Галка вышла из метро и сразу закурила. Таня видела, что, когда та прикурила, у нее крупно дрожали руки. Галка увидела ее и прибавила шаг.

– И чего – опять эту принцессу ждем? – без «привет» и «здрости» зло бросила она.

– Ты же знаешь, – вяло отмахнулась Таня.

– Нет, ты мне скажи, ну не сволочь? – Галка подняла голову и кивнула на небо, с которого щедро сыпалась серая, колкая снежная крупа вперемешку с дождем.

Таня не отвечала.

– И ведь видит же, сволочь, какая погода! Ну почему ее должны все и всегда ждать? А? Ну понятно, нас за людей она вообще не держит. – Разнервничавшись, Галина зашлась в хриплом натужном кашле. Таня спокойно сказала:

– Ну ты же знаешь, не заводись, береги нервы.

– Ага, – подхватила Галка. – Береги. Что там беречь-то? Эти гады третьим беременны. – Это она про сына и невестку. – Нет, ну ты мне скажи, это люди?

Таня пожала плечом, хотела что-то сказать, но Галка яростно продолжала:

– Две комнаты смежные, кухня с херову душку, мал мала двое – из соплей не вылезают, их бы на ноги поставить. А она опять пузом сверкает.

– Ну, Галь, это же их дело, ты же не можешь им запретить, – робко вставила Таня.

– Что запретить? Сношаться? – Галка никогда не была изысканна в выражениях. – У этого мудака зарплата – копейки, дети гречку с картошкой жрут. А она мне – дети, Галина Васильевна, это счастье, жаль, что вы этого не понимаете. – От возмущения Галка задыхнулась, и на глазах у нее выступили злые слезы обиды.

– Ну, Галь, ну успокойся, куда деваться, такая судьба. – Таня погладила ее по сухой морщинистой руке с короткими неухоженными ногтями.

– Покоя хочется, понимаешь?

Таня кивнула.

– Тишины, книжку почитать, поваляться. Просто одной побыть. Ты же знаешь мою жизнь. Шестьдесят лет терплю. Не живу, а терплю. Понимаешь? Этот алкаш издох – думала, вот, сейчас поживу. А тут сыночек привел, не запоздал. И начали рожать раз в два года. Нет сил. Совсем нет сил.

Таня кивала и гладила Галку по руке. «Бедная, бедная, – думала Таня. – А ведь и вправду жизнь у нее – не приведи господи. Сначала муж – алкаш, потом сын – дурачок, теперь невестка – бесперебойная родильная машина. Квартирка жуткая, нищета всю жизнь. Что она видела хорошего в жизни, Галка? А детство? Сирота, хорошо еще, что тетка взяла, пожалела, а так – детский дом. Хотя, если про эту тетку, неизвестно, что лучше. Нет, это я, конечно, утрирую».

– Идет, – злобно бросила Галка.

Таня обернулась. По грязным лужам, в которых отражалось недоброе небо, по сизому снегу не шла – плыла Жанночка. Принцесса. Белая шубка, белая шапочка, белые сапоги – снегурочка просто. Из-под шапочки – локоны. Издали – девочка двадцати пяти лет. Она подплыла к ним с радостной улыбкой.

– Ой, девочки, привет! Давно ждете?

– Ты что дурочку включаешь? На часы посмотри, – набросилась на нее Галка.

Жанночка послушно заковырялась в отвороте пушистой перчатки, отыскивая часы.

– Ой, правда, на двадцать минут! – очень удивилась она. – Ну вы же меня, девчонки, знаете! Завозилась с утра – то то, то се!

Галка останавливаться не собиралась:

– Дрыхла небось, потом марафетилась, а люди ждать должны по этой погоде!

Таня примирительно проговорила:

– Ну, все, все. Где машина, Жанночка? Пойдем, пойдем скорее, мы и вправду околели.

Гуськом двинулись к машине. Галка продолжала ворчать. В машине было, слава богу, тепло и пахло земляничной отдушкой. Двинулись наконец.

– На кладбище, наверное, посуше, – волновалась Жанночка. – Там

небось всю еще снег. Боюсь, промокнут ноги.

– Промокнут – высохнут, – злобно обнадежила Галка.

– Ой, что ты! Я тут так отболела – две недели такой бронхит! И насморк – так намучилась!

– Да ладно скулить! – Галка приоткрыла окно и опять закурила.

Жанночка поежилась:

– Галь, дует!

– Не сдует – ты ремнями пристегнута, – отозвалась Галка.

Таня улыбнулась. Скандал, похоже, сходил на нет.

У кладбища купили три одинаковые корзины – еловые ветки с шишками – и двинулись внутрь. Первой лежала тетя Оля, Ольга Андреевна, Жанночкина мать. На главной, престижной аллее – Жанночка уже тогда была в очередной раз удачно замужем. Ее муж, известный архитектор, без труда пристроил тетю Олю на хорошее место – он лично знал директора кладбища. Главную аллею всегда чистили и убирали, люди на ней лежали непростые, известные. Тетя Оля оказалась в неплохой компании. Тот же архитектор придумал тете Оле и памятник – он этим слегка занимался («Так, побочный заработок», – оправдывалась Жанночка). Памятник получился четкий, не громоздкий, не пошлый, весьма оригинальный и – выдержанный. Не будь его, архитектора, вкус и воля, Жанночка наверняка насочиняла бы каких-нибудь гирлянд, вазонов и виньеток. На могиле была идеальная чистота – конечно же за ней смотрели. Жанночка всхлипнула, сняла перчатку и провела по портрету матери маленькой, совсем детской рукой. Галка и Таня деликатно стояли в стороне.

– Мамочка моя, – шептала Жанночка. – Ну вот, я пришла, как всегда, да? У меня все хорошо, – докладывала она.

Галка криво усмехнулась.

– Боба здоров, Илья Евгеньевич тоже. В доме сделали камин, дымит, правда. – Жанночка всегда любила подробности.

Галка возвела очи к небу. Таня качнула головой – осудила Галкину нетерпимость. Галка притопывала ногами. «Холодно ей, – догадалась Таня. – Сапоги эти на рыбьем меху, да и пальтишко тощее. Бедная, бедная Галка, и голодная к тому же, наверное!» Жанночка еще что-то бормотала минут десять, пока Галка не бросила ей:

– Пойдем уже, господи! Бедная тетя Оля в твоих каминах и диванах запуталась.

Жанночка судорожно вздохнула, поправила корзинку с ветками и покорно кивнула.

– Ой, девочки, а может, я вас в машине подожду? Зябко как-то, я ведь

отлечилась только-только.

Галка дернулась и резко пошла вперед. Таня укоризненно попеняла Жанночке:

– Ну что ж мы тебя тогда ждали, а, Жанн? Странная ты, ей-богу! – И быстрым шагом бросилась догонять Галку. До Жанночки вроде бы дошло, что подружки обиделись, и, не очень понимая, в чем дело, она кинулась вслед. Конфликт для нее все-таки был страшнее, чем повторный бронхит. Галка шла резко, курила на ходу.

Вторая остановка была у последнего пристанища Таниной матери – Веры Григорьевны. Это была боковая аллея, слава богу, неглубоко – у самой дороги, с краю. Камень стоял обычный – серый мрамор, из недорогих. С овального керамического медальона смотрела с улыбкой молодая Вера Григорьевна. Таня почему-то упрямо хотела, чтобы на памятнике было обязательно фото молодой матери, хотя ушла Вера Григорьевна в самом почтенном возрасте – в восемьдесят два года. Молодая Вера Григорьевна улыбалась, кокетливо повернув голову чуть набок. И были прекрасны ее молодые глаза, и гладок блестящий пробор, и у шеи кружевной воротничок держала любимая наследная камея: тонкий профиль, завиток, еще завиток, чуть опущенный подбородок, прямая линия носа, узкая длинная шея – в общем, что-то от Веры Григорьевны, несомненно, есть. Таня достала тряпку из пакета, протерла камень, убрала засохшие цветы, зажгла поминальную свечку и повела свой разговор – как всегда, про себя, естественно. Минут через десять она закрыла калитку ограды и подошла к подругам. Галка осенила крестом фотографию Веры Григорьевны, а Жанночка, шмыгая носом, пожелала Вере Григорьевне спокойного сна. Таня и Галка переглянулись и вздохнули – теперь уже обе. До могилы тети Шуры идти было минут двадцать, самая глубь кладбища, где становился слышнее гул машин на Окружной.

– Нет, хорошо еще, что все-таки на одной стороне лежат, да, Тань? – бормотала Жанночка. – А то если бы на новом? А? Это же вообще был бы тихий ужас! – представив это, Жанночка даже остановилась и покачала головой.

Наконец дошли, добрались, усталые, заморенные, замученные. На могиле тети Шуры стоял простой металлический крест, увитый когда-то ядовитого цвета пластмассовыми цветами, со временем потерявшими уже свою яркость и синтетический блеск. На местах уже ржавом кресте, в сердцевине его, был прикручен металлический же прямоугольник с выбитыми фамилией, инициалами и цифрами – годами жизни и смерти. Галка пристроила к изголовью принесенную корзинку, бросила в пакет

отрезанную по пояс пластиковую бутылку, служившую вазой, с уже стухшей, темной, подмерзшей водой. Перекрестила теткин крест и сказала, как всегда, свою обычную фразу:

– Ну, спи, с Богом. Он тебе и судья.

Это заняло три-четыре минуты, и все двинулись в обратный путь, предвкушая сначала тепло и комфорт машины, а потом тепло и уют Таниного дома. В общем, все было исполнено четко, как всегда. И на сердце, как ни странно, от этого стало легче. В машине уже говорили обо всем, перебивая друг друга. Все повеселели, представляя, как сейчас, ну, минут через двадцать, разденутся, наденут теплые тапки, вымоют руки, сядут на кухне за стол, уже наверняка, как всегда, накрытый Таней. Таня бросится разогревать борщ и пирожки, Галка достанет из морозилки бутылку водки, и все отдохнут, вытянут ноги, согреют руки, выпьют первую стопку – и расслабятся, расслабятся наконец. И уже помягчает окосевшая Галка и будет приставать к Жанночке с выпивкой:

– Да брось ты свою тачку, вызови такси, расслабься, будь человеком, а, Жанн?

Жанночка будет сопротивляться минут двадцать – на большее ее не хватит, такой характер. И она тоже махнет рюмку, и они с Галкой почти полюбят друг друга или хотя бы на время друг друга простят. А Таня станет наливать малиновый борщ, достанет из духовки подогретые пироги, потом потопчется, устало присядет, и после первой рюмки ей станет тепло, свободно и хорошо, и они начнут с почти ускользающими подробностями вспоминать свое далекое детство. И будут друг друга перебивать, перекрикивать даже и спорить, что было не так, а иначе, и называть друг друга идиотками и дурами. И обязательно всплакнут по очереди, а затем и вместе над какими-то подробностями, незначительными для других и кажущимися невероятно важными для них. Потом они проговорят о детях, мужьях, бывших и нынешних, невестках, зятях, сватах, свекровях, дачах, болезнях, тряпках, книгах и фильмах. Потом опять будут перебирать свою жизнь, вспомнят, если не забудут, бывших возлюбленных – тех, из общей юности. Опять заспорят и, конечно, непременно поругаются, примерно раз в пятый за этот день.

\* \* \*

Таня садовыми ножницами с хрустом резала курицу и поглядывала на подруг. Галка уже отогрелась, даже порозовела как-то, брови, сдвинутые к

переносью от вечного напряжения, наконец встали на место. И Галка не прекращала жевать, хватая маленькой, сморщенной рукой то пирожок, то куриную ножку. «Господи, какая она голодная вечно», – с болью подумала Таня. Жанночка откинулась на стуле – яркая косметика ее растеклась, лицо покраснело, и теперь уже отчетливо виделись ее немалые года – в общем, все как оно есть. Пили, как всегда, водку, хотя Жанночка робко попросила коньяк.

– Перебьешься, – бросила ей Галка.

Потом Таня сварила кофе, все немного пришли в себя, но спустя минут сорок Галка опять потребовала выпить, и Таня пошла в комнату и из нижнего ящика стенки, где обычно у нее стояли початые бутылки спиртного, оставшиеся после Нового года и дня рождения, достала полбутылки забытого коньяка «Белый аист» и почти полную бутылку болгарского красного вина, дешевого и кислого, взятого, кажется, на глинтвейн. Таня, кряхтя, поднялась с колен. «Возраст, возраст», – подумала она. При виде бутылок пошло оживление – Жанночка выпила большую рюмку коньяка, а Галка с удовольствием, жадными глотками пила вино.

– Плохо не будет, а, девчонки? – забеспокоилась Таня.

– Нам теперь будет только хорошо, – уверила ее слегка заплетающимся языком Жанночка.

Потом опять Таня варила кофе, и снова были бесконечные разговоры, разговоры. Они внезапно и явственно почувствовали себя близкими и родными людьми, почти сестрами – ведь позади, за плечами, была долгая и непростая, с колдобинами и ямами, жизнь, долгая и временами непростая их дружба. Нищее детство, далекая общая юность и, как всегда, восхитительное взросление, постепенное возмужание, закалка, борьба, сопротивление и многое другое, из чего состоит, собственно, любая человеческая судьба. Обсудив детей, внуков, болезни – то, что наполняло их нынешнюю жизнь, – как всегда, начали вспоминать покойниц, собственно, невольных виновниц сегодняшнего события.

– Нет, все-таки святые они люди были, святые, – сказала размягченная и утихомиренная Галка. – Такое время выпало на их долю, не приведи господи. А ведь сумели сохранить в себе и силу духа, и вкус к жизни.

– И радоваться умели, – вставила Таня. – Не то что мы, – ноем, скулим по любому поводу, а ведь у всех квартиры, пенсии, слава богу. Холодильники не пустые, дети здоровы – тьфу-тьфу.

– Да, народ нынче не тот, – согласилась Галка.

– Измельчал, – кивнула Жанночка. – Вот мама моя вдовой осталась в двадцать три года, через год после начала войны, в 42-м. Похоронка



пришла на отца через три месяца, как его забрали. Мне – четыре года. Мама только институт окончила – и сразу сутками в больнице. Я с няней сидела, а она пьющая была. Помнишь Глашу? – спросила Жанночка у Тани. – Хорошая была тетка, только пьющая, – повторила Жанночка. – Как выпьет, пугала меня ведьмаками. Господи, как я боялась тогда ее! – Жанночка вздохнула и громко икнула.

– Ты хоть с Глашей сидела и в квартире с батареей и теплой водой, а я? – возмутилась Галка. – А я в бараке с крысами и остывшей печкой. Тетка уходила на сутки в контору, а я одна, одна. Забьюсь в угол, ноги в валенках подожду, руками колени обхвачу – и плачу, плачу, без передыху. Думала, все слезы свои тогда оставила, ан нет, на всю мою жизнь говеную их хватило. Сил уже нет, а этой воды – пожалуйста. Не убывает!

Эх! – крикнула Галка и выпила рюмку коньяка. – Тетка злющая с работы придет, голодная, замученная. Картошку холодную ест, а мне, как собаке кость, в миску то, что останется, бросит. Потом, правда, отходила, чай вместе пили, она мне сахару на хлеб насыпала. Добрела. Иногда я думаю: чего она меня взяла после маминой гибели, чего взяла? Ведь не любила меня. Ни чуточки не любила. А я тихая была, забитая, боялась ее до смерти. Она все попрекала меня, что забрала, в детский дом не отдала. А я тогда думала – лучше бы в детдом.

– Нет, Галка, не лучше, – сказала Таня. – Я работала в интернате в шестидесятых, вроде и время не военное, не голодное, а все равно все как волчата, выживали сильнейшие, а слабые... И еду у них забирали, и били, и измывались. Здесь все-таки тетка – родной человек. Хотя, верно, тетя Шура была не сахар, но ведь не отдала тебя, не бросила, а жизнь у нее и вправду была собачья – ни мужа, ни детей, ни родни, ни специальности. Шутка ли, баба всю жизнь на дорожных работах – что может быть тяжелее?

– А человек она все-таки была хороший, честный. Да, честный. Правду-матку всю жизнь в глаза резала, что надо и что не надо. Кому от ее правды легче было? И меня всю жизнь куском попрекала, – отозвалась Галка. – Вот я в пятнадцать лет и работать пошла, чтобы на ее харчах не сидеть. И за Вовку в семнадцать выскочила, только чтобы от нее, от родимой, сбежать. А попала из огня да в полымя. – Она усмехнулась. – Из одного болота в другое. Ни года ведь передыха в моей жизни не было. Да что там года – ни месяца. А дней – по пальцам пересчитать. Море видела один раз в жизни. Пальто один раз в ателье пошила. Маникюр в парикмахерской один раз в жизни сделала – перед своим пятидесятилетием, девчонки с работы заставили. Все по одному разу в моей жизни. В ресторане один раз была – у тебя, Жанка, на дне рождения.

За шестьдесят лет. Разве это много? Всего хорошего по одному разу. И это за всю мою долбаную жизнь.

Таня и Жанночка молчали. Конечно, Галка была самой несчастной из них – никто не спорил. У Тани был неплохой муж, инженер, заботливый, тихий, непьющий. В жизни дурного слова не сказал, голоса не повысил. Так бы и жили не тужили, до старости проколупались бы, внуков от дочки Иришки растили, цветочки и укроп на своих шести сотках в Полушкине сажали. А не вышло. Не «склалось», как говорит Иришка. Ни внуки, ни шесть соток, ни тридцать прожитых неплохо лет его не остановили.

В шестьдесят вышел на пенсию и на банкете в честь этого события в кафе «Фиалка» за щедро накрытым столом, выпив пару рюмок водки для храбрости – был слабоват духом, встал и при всех объявил, что уходит от законной жены Титовой Татьяны Андреевны. Уходит с чистой совестью и с чувством до краев выполненного долга – дочь выучил, замуж отдал, свадьбу справил, участок дачный получил, садовый домик шесть на восемь поставил, в квартире ремонт сделал – обои, плитка, кухня новая, в розовый цветочек. А теперь, друзья и коллеги дорогие, он, Титов Юрий Павлович, хочет пожить своей жизнью, то есть для себя. А эта своя жизнь у него, представьте, имеется. Без малого пятнадцать лет. В лице гражданской жены Нины Ивановны тридцати пяти лет (бывшей сотрудницы НИИ Легпищемаш) и шестилетнего сына Николаши, наследника фамилии, между прочим. Таня тогда зашлась в страшном удушливом кашле, зашаталась, и ей показалось, что высокий, украшенный цветными воздушными шариками потолок сейчас обрушится на нее. За столом все удрученно молчали.

– Дурак, – сказал кто-то.

Таню вывели в коридор и усадили на банкетку. Гости по-тихому, как мыши, стали расползаться. Не у всех хватило мужества подойти к Тане и сказать какие-то слова. Кто-то, правда, подошел, попытался ободрить ее, но помнила она все плохо. Перед глазами стояла мутная, плотная пелена. Потом она отключилась и немного пришла в себя только дома, куда ее отвезли Ириша с зятем Валерой.

– Жизнь продолжается, мама, – твердила дочь.

Потом, когда прошло немного времени и Таня была уже в силах что-то осознавать и понимать, она думала, что, в сущности, жизнь с мужем она провела скучную, тягучую, блеклую, без всплесков и страстей, как все считали, благополучную. Любила ли она его? «Нет», – ответила она себе. Конечно же нет. Так, привыкла, благодарность была какая-то, непонятно за что. Разве такую жизнь она себе наметала когда-то? Но гнала, всю жизнь

гнала от себя эти бередящие душу мысли. Теперь особенно было жаль безвозвратно ушедших дней, однообразных, серых, бесконечно скучных. Господи, лучшие годы! Ей было не жаль *этой* семейной жизни, но было горько и противно от такого вероломного предательства, последней выходки своего бывшего. Он, как ей казалось, в принципе был на такое не способен. А получилось вон оно как! Тридцать лет прожить с человеком и не знать, даже не подозревать, чего от него ждать. Месяца два Таня провалялась на больничном, благо участковая врачиха оказалась из понимающих – сама брошенка. А потом она встала, вымыла окна, передела в наштатыре все подвески из чешской хрустальной люстры, выстирала тюль после зимы и стала жить дальше. Со временем она с удивлением обнаружила, что без хлопот и забот ей живется легче, свободнее и даже дышится в квартире как-то легче. Потом Ириша родила подряд двух внуков – в общем, скучать стало некогда. В пятьдесят пять, день в день, ушла на пенсию. Все лето сидела с внуками на даче: огород, цветы – дел хватало.

– Да что говорить, – подала голос Жанночка. – У всех, конечно, проблем достаточно.

На это уже почти утихомирившаяся Галка ехидно хмыкнула.

– Да, у всех, – повысила голос Жанночка. – Ты думаешь, проблемы только у тебя?

Галка хотела открыть рот, но ее остановил суровый Танин взгляд – тихо, Галка, тихо, не надо.

Жанночкина жизнь по сравнению с Галкиной выглядела тихим гладким озером, голубым с перламутром, окруженным ярким зеленым лесом и поляной с ромашками. Но кое-где все-таки уголки этого рая были затянуты плотной чешуйчатой ряской. Внешне вполне благополучная, сытая и спокойная, как любая жизнь, она, безусловно, выдавала порциями жесткие испытания. Никого не пропустила. Хотя, конечно, если сравнивать испытания, выпавшие на долю того или иного человека, то не все по справедливости, не все. Но каждому по судьбе, по силам. И как тут мериться, как определять чашу весов?

Первый раз Жанночка вышла замуж рано – в девятнадцать лет. Не вышла – выскочила. Правда, жених был завидный: молодой скрипач симфонического оркестра, умница и красавец, из обеспеченной и интеллигентной семьи – блестящая партия. В молодости Жанночка была хороша – глаз не оторвать: точеная фигурка, темные живые глаза, роскошные вьющиеся каштановые локоны. Обшивала ее известная в Москве портниха – мамины старые связи, – и одета была Жанночка, как

куколка: пышные юбки, широкие пояса, кофточки с басками, лаковые «лодочки». Жанночка первая выпорхнула из коммуналки – молодые стали жить в квартире свекров, роскошной сталинке на Фрунзенской. Жили они с мужем замечательно – сытно, беззаботно и весело. Работать Жанночке не пришлось – в этом не было необходимости. Курорты, роскошная дача с удобствами в Ильинке, собственная «Волга». Но счастье продолжалось недолго. Красавец-скрипач скоропостижно скончался через четыре года. В тридцать пять лет. Инфаркт. Жанночка горевала безутешно. Возвращаться к маме в четырнадцатиметровую комнату в коммуналке не пришлось. Несчастные родители мужа умолили ее остаться у них. Жанночку они полюбили всем сердцем – это было последнее, что осталось у них от сына. Жанночка похудела, подурнела, почернела лицом. Убивалась по мужу сильно. Но через восемь месяцев сошлась с его двоюродным братом, тоже музыкантом, пианистом, – аккомпаниатором известного скрипача. Родители мужа приняли это известие с радостью, как ни странно. Жанночка, ставшая им практически дочерью, оставалась в семье. Пианист, который давно развелся и оставил квартиру детям и бывшей жене, пришел в дом к родителям своего рано ушедшего брата. Его приняли. Родители Жанночкиного первого мужа были действительно дивными людьми – тихими, образованными, интеллигентными. Жизнь для них снова наполнилась смыслом.

– Чудные люди! – восклицали знакомые.

Впрочем, находились и такие, кто их не понимал и даже осуждал. Не без этого. Прожила Жанночка с пианистом лет семь. Спокойно, уравновешенно. Человек он был немногословный и ее обожал. Правда, это не помешало ему во время гастролей в Америке попросить там убежища – случай это был громкий, такое в те годы случалось нечасто. Жанночка и родители его покойного мужа были, мягко говоря, обескуражены. Никто не ожидал от этого тихого, уравновешенного человека подобной выходки. Жанночку это, правда, не коснулось напрямую – брак у них был гражданский. Поплакала она, поплакала и вышла опять замуж. И опять чрезвычайно удачно. Летом в Коктебеле познакомилась с архитектором, старым холостяком, завидным для многих женихом. Но окрутить его все как-то не удавалось ни одной из умелых и опытных особ, роem выющихся вокруг него. А Жанночке удалось. Скажем прямо – без особых усилий.

Умница-архитектор увидел в ней чеховскую Душечку – мягкую, спокойную, небольшого ума, но красавицу, хозяйку и чистюлю, да и вообще верного человека. Конечно же, он был вполне обеспечен. Жили они теперь на Кутузовском, в роскошной трехкомнатной квартире: спальня из

карельской березы, подсвечники, бронзовые люстры, шелковые драпировки, домработница, личный водитель. Жили, надо сказать, душа в душу. Только вот детей Бог Жанночке не дал. Поначалу это их очень огорчало, но потом они смирились, прекратили походы по врачам – хватит, достаточно душу рвать, решили жить друг для друга. Архитектор был «при власти» – оттуда и все бонусы и даже поездки за рубеж, столь редкие в те времена. Жанночка одевалась только в «Березке» – шубы, дубленки, итальянская обувь. Сытая, размеренная, благополучная жизнь. Да нет, так не бывает. В сорок три года у Жанночки обнаружили опухоль груди. Правда, сделали вовремя операцию, нашли лучших врачей, устроили в кремлевскую больницу. Но это ее все же здорово подкосило – видела, что постарела, подурнела. Муж, правда, был сама нежность и внимание. Но с тех пор Жанночка, обладавшая прекрасным вкусом и чувством меры, начала неумело молодиться. Слишком много косметики, слишком светлые наряды, высокие каблуки, легкомысленная стрижка. Муж, эстет по природе, слегка морщился и осторожно делал ей замечания. Но Жанночка, обычно ловившая каждое его слово, здесь была словно глухая. И все набирало обороты – чувствовала она, что улетают, уплывают годочки, теряет она свою женскую прелесть и миловидность. А тут еще эта проклятая болезнь... В общем, компенсировала она это как могла, как умела и как ей казалось правильно. Архитектор тем временем не на шутку увлекся одной молодой особой, киношной актрисулькой – бело-розовой, пышненькой, как сдобная булочка.

Увлекся всерьез, но мысли бросить Жанночку у него, слава богу, не возникало. Просто разъехались по разным спальням. Предлог был очевиден – Жанночке нужно рано ложиться и больше отдыхать. А он типичная сова, до двух ночи колобродит – радиоприемник, журналы, поздний чай. Жанночка что-то чуяла – женская интуиция, но в подробности предпочитала не вдаваться. Кому будет от этого хорошо? А смысл? Она очень дорожила своей жизнью и своими привычками. В конце концов, все ее вполне устраивало.

Галка считала, что все Жанночкины проблемы – чушь, пыль, ерунда. Вся жизнь при мужьях, да каких! О куске хлеба никогда не думала. А что детей нет, так это только плюс. Какие от детей радости – одна суета да морока. И это в лучшем случае. Галка это знала наверняка. Жанночку она не уважала, не жалела уж и подавно, делала вид, что не любит ее и презирает за паразитическую жизнь. Но в душе все же была к ней привязана – еще бы! Все детство, вся юность бок о бок. Куда от этого денешься? А в общем, жизнь никому не сделала поблажки, никого не

пропустила. Таня Жанночку жалела – одинокий и нездоровый человек. Здесь хоть дочка – родная душа. Внуки, зять – хороший человек.

Подруги притихли. Задумались – кто о чем, каждая о своем. Первой голос подала Таня:

– Ой, девчонки, хватит кукситься. Давайте выпьем за наших матерей и за твою, Галка, тетку. Святые были люди, что ни говори! – Таня подняла рюмку с остатками коньяка. – Жизнь у них была ой не сахар. Мы вот себя жалеем, а они? Война, дети крошечные на руках, вдовство это раннее. Да что они хорошего видели в жизни? Дом, на работе пахота, вечное безденежье, коммуналки эти проклятые, быт нищенский. Стирка в тазу, баки с постельным бельем неподъемные. Никуда не ездили, ничегошеньки не видели. Вот уж несчастное поколение! – Таня вздохнула, откинула голову и махом выпила коньяк.

Галка налила себе стакан вина и плеснула Жанночке.

– А ведь они себя несчастными не чувствовали, а, Тань? – сказала Галка. – Скатерти крахмалили, пироги пекли, соседей угощали. Юбки свои и платья в сотый раз перелицовывали. «Химию» бегали в парикмахерскую делать. – Она помолчала и продолжила: – И не ныли ведь, не скулили. Считали, что так им повезло – сами выжили. Детей сберегли. Были тогда судьбы и пострашнее. Их хоть лагеря минули, слава богу.

– А песни какие пели! – вставила Жанночка. – Помните, девчонки, собирались они – тетя Шура кулебяку пекла, мама моя форшмак делала, печеночку с луком жарила, а Вера Григорьевна твоя, Танюш, гуся запекала с яблоками, а, Танюш?

– Да ну, Жанна, это было-то всего один раз. Гуся тогда мамина родня из деревни прислала.

– А я запомнила, – грустно сказала Жанночка. – Роскошный такой гусь – глянцевого, румяного и яблоки по бокам. – Жанночка всхлипнула.

– Ну, гусь, может быть, и один раз, не помню, – отозвалась Галка, – а вот торт тетя Вера пекла отличный, с шоколадной глазурью и орешками. Точно помню. На каждый Новый год, да, Тань?

Таня кивнула:

– «Мишка». Торт «Мишка» назывался.

Они опять замолчали.

– А песни какие они пели! – оживилась Жанночка. – Помните, девочки? Дружно так! Начинала тетя Шура, у нее хороший голос был, а потом подхватывали все: «Легко на сердце от песни веселой!»

– Она скучать не дает никогда! – подхватила Таня.

– Было, – угрюмо согласилась Галка. – Было, помню. «Легко на сердце

от песни веселой». Пели, стройно так пели. – Галка опять закурила.

Таня встала и открыла форточку, опять села к столу и продолжила:

– Да. Тяжело жили, а на душе было легко, просторно, потому что верили в хорошее. Казалось, что все самое тяжелое и страшное уже позади, уже пережито. Что могло быть страшнее войны? Дай-ка, Галка, сигарету, – попросила некурящая Таня.

Все опять замолчали.

– Легко на сердце, говоришь? – недобро усмехнулась Галка. – Легко, значит. Вряд ли это. Не думаю я, что у тетки было благостно на душе. – Она опять замолчала, а потом с усмешкой оглядела притихших подруг. – Вот вы говорите, тетка была святая: честная, копейки чужой не возьмет. Все на себе тащила – меня от приюта спасла, выходила доходягу, кормила, обувала, хоть и попрекала куском, но по-честному, душой не кривила. Такой просто была человек: что думала, то и несла.

– Ну и что ты этим хочешь сказать? – удивилась Таня. – Тетю Шуру мы все хорошо знали.

– И помним, – добавила Жанночка.

– А то, – отрезала Галка. – Грех был на тете Шуре страшный. И жила она с этим грехом всю жизнь. Мучилась, оттого и злобилась, и на мне срывалась. На невинном ребенке-сироте.

– Господи, Галка, что ты несешь, какой еще смертный грех у простой и прямой, как палка, тети Шуры? Неспособна была эта правдолюбка на тайные грехи и страсти, не в ее натуре просто, – удивилась Таня.

– Страсти тут и ни при чем, – отрезала Галка. – Не до страстей ей было. А грех вот какой. В деревне еще в семнадцать лет сошлась она со своим дядькой родным, братом матери, ему тогда лет тридцать было – дети, жена, все, как положено. Близкая родня, ближе нет. А вот скрутились, спелись. Тетка, она ведь смолоду некрасивая была – тощая как жердь, смуглая, нос на двоих рос – у нас все бабы в роду такие, – но молодая, телом крепкая. Вот он, дядька этот, ее на сенокосе за скирдой и завалил. Жена ему, квашня, всю дорогу беременная, наверное, надоела. Жили в одной избе, а по ночам на сеновал украдкой бегали – любились. А потом Шура залетела. Куда деваться? Такой позор! В деревне-то! У всех на виду, да в своей семье. Бегала она к бабке в соседнее село – та каких-то трав дала, но ничего не помогло. Видно, в здоровом теле ребеночек первый крепко засел. Она и парилась, и с ведрами полными бегала, и с крыши прыгала – все выкинуть хотела. Ан нет. Когда пузо наверх полезло и мать заметила, батя ее крепко избил – по всей деревне гонял. Она и родила девочку раньше срока и все родне рассказала да еще приврала, что дядька

ее принудил к этому делу, изнасиловал, а не по доброй воле она на сеновал к нему бегала. В общем, шухер там был грандиозный – батя Шурин деверя избил до полусмерти, из дома выгнал со всей семьей в придачу. Избы у них не было, говорят, горя они хорошо помыкали. Сначала побирались по селам, потом вроде осели где-то. Но не о них речь. Девочку Шура родила убогую – то ли ручка культей была, то ли ножка, уже не помню. Через год стало ясно, что ребенок еще и неполноценный, отсталый – слюни текли, глазки пустые, не ходит, не стоит, не сидит – дебилка, одним словом. Отец Шурин суровый был мужик – сибиряк. Он ее из избы выгнал, мать ее то ли в сарай, то ли в курятник пристроила, еду ей носила – отец за стол не пускал. А потом она и вовсе сбежала – одна, без дочки, естественно, и больше за всю свою жизнь ни разу в родную деревню не приехала. Пыталась пару раз деньги какие-то с родней передать – ей эти деньги обратно возвращались. Отец их не принимал, он ее проклинал.

По слухам, вроде девочка прожила лет пятнадцать-шестнадцать, мучились с ней страшно. А как на самом деле было – не знаю. Эту «веселенькую» историю мне родня рассказала уже году в 57-м, кто-то тогда из Вятки приехал, сестра матери двоюродная, что ли. Шура об этом всю жизнь молчала. Видно, и меня она взяла после смерти мамы, чтобы грех с себя смыть. А полюбить ей меня не удалось. А может, она и не очень старалась. Может, больно ей было на меня, здоровую, смотреть. Мужиков у нее больше не было. Точно не было. Я бы заметила, поняла. Она потом всю жизнь от них шарахалась – боялась до смерти и до смерти ненавидела. Так и осталась с семьей классами – не до учебы, понятно. В эвакуацию не поехала – боялась свою комнату в бараке потерять. Всю жизнь с кайлом в руке. Меня взяла в 44-м. – Галка замолчала и со вздохом крепко затянулась, сигарета почти догорела и обожгла ей пальцы. – Черт, – ругнулась Галка, раздавила бычок и вытерла глаза.

Все молчали, она оглядела стол: бутылка из-под коньяка была пуста. Разлив всем остатки вина, Галка первой нарушила тишину:

– Ну что, девочки, дернем еще по одной? – И, усмехнувшись, добавила: – А вы говорите, песни радостные пели.

– Ой, девочки, – всхлипнула Жанночка, размазывая по лицу тушь вперемешку со слезами. – Ой, девочки, – повторила она.

– Ну чего реветь, дело-то прошлое! Вот и тети Шуры уже двенадцать лет в живых нет. Может, ей там, наверху, все давно отпустили за всю ее собачью жизнь. Так что не бери в голову, Жанка, сколько лет прошло! – попыталась успокоить ее Галка.

– Да нет, я не об этом, – замотала головой Жанночка. – Я не про тетю



Шуру, нет, я про свою маму вспомнила. Хотя нет, не вспомнила. Я это никогда не забывала, просто гнала от себя, гнала всю жизнь, чтобы только не думать, забыть хоть на какое-то время. – Она замолчала и потянулась за сигаретой. – А забыть не получается. Так и живу с этим всю жизнь – со светлой памятью о маме и с безразличностью и презрением к ней.

– Господи, да о чем ты, Жанна? – раздраженно спросила Таня. – Что все причитаешь? Какая безразличность, какое презрение? Это ты о тете Оле? Что ж там такое могло быть, чтобы после всей вашей дружбы с ней и любви ты ее презирала? А, Жанк? Да еще и ненавидела?

– Хочешь знать? – зло спросила Жанночка. – Не пожалеешь, что на одну «веселенькую» историю в твоей жизни больше будет? А может, хватит, а?

– Господи, Жанна, ну куда тебя несет? Я тебя такую и не видела никогда, – проговорила Таня и подумала: «Перебрала, наверное. Точно перебрала. Галка в этом вопросе стойкая, а Жанночка нет. Ее всегда с бокала шампанского развозило. Вот чего-то и сочиняет. Страшилками пугает».

– Ну чего? Говорить или замолчать? – продолжала зло упорствовать Жанночка.

– Да говори уже, твою мать, не тяни кота за яйца, – бросила Галка.

– Угу, начинаю в таком случае, – недобро усмехнулась Жанночка. – Когда маме пришла похоронка на отца, она же совсем девочка была, да еще со мной на руках. Институт, правда, окончила, умница, ей тогда бабушка здорово помогла. После войны мать в медсанчасти при заводе работала. Она врач, и фельдшер был при ней, здоровый такой лысый дядька, сильно пьющий. Он у матери всегда спирт таскал, а остатки водой разбавлял. Она это замечала, но его не выдавала, понимала, как врач, что это болезнь. А красивая она была! Помните, девочки?

Галка с Таней усиленно закивали.

– Она и в старости красоткой оставалась, – вставила Таня. – Волосы какие, губы, глаза, стать!

– Она и умирала в семьдесят пятом не старухой, а женщиной. Хоть и мучилась после трех инсультов страшно. А тогда, в пятьдесят третьем, у нее роман случился с инженером заводским – медсанчасть ведь при заводе Хруничева была. Я его прекрасно помню, он часто приходил к нам, этот Георгий Иванович. Красивый мужик – седовласый, высокий. Мать его любила безумно. Замуж за него хотела. Нажимала на него. А он ей сразу объяснил, что с женой никогда не разведется. Жена его тоже на заводе работала, в отделе кадров. Я ее помню даже – худенькая такая, мелкая,

личико узкое. Куда там ей до матери, до ее жгучей красоты!

Я слышала, как мать плакала, умоляла его уйти. А он твердо – нет, Оля, никогда. Она меня с фронта ждала, с двумя детьми маялась, и потом, здоровье у нее никакое. В общем, судя по всему, приличный мужик он был, этот Георгий Иванович. А в шестьдесят втором у его жены сильные боли в желудке начались, к матери в медсанчасть пришла – она ведь ни сном ни духом. В медсанчасти стационар был на три койки, по-моему. Мать ее положила, как могла обследовала и сразу поняла – рак. Потом анализы сделали – да, все подтвердилось. Ее бы сразу в больницу хорошую, операцию срочно – может, пожила бы еще. А мать тогда Георгию сказала, что у нее язва, что боли от нее. И никуда ее не определила – та так и умерла месяца через полтора. Нет, от болей, конечно же, ее кололи, облегчали как могли – промедол, омнопон. Она почти все время спала. Мук страшных не было.

Мать мне это перед смертью рассказала, после третьего инсульта. Понимала, что уже вряд ли выкарабкается. Говорила мне, что хотела ее от мук избавить – операция, швы, боли. Все равно, говорила, она бы не выжила, только измучили бы ее. А я вот не знаю. Может быть, если б в больницу, операцию – могли бы успеть, пожила бы еще пару лет. Не знаю. По тому, как мать говорила мне про все это, и по тому, как каялась, – не знаю, не уверена я в ее правоте. Имею право сомневаться. Слишком мучило ее это всю жизнь, если не побоялась мне перед смертью открыться. А мне кажется, что ускорила она ее смерть, чтобы Георгия Ивановича заполучить. А ведь он на ней так и не женился, даже после смерти жены. Наоборот, потихоньку визиты его сошли на нет. Видимо, тяжело ему было мать видеть – здоровую, красивую и очень настойчивую. Наверное, жену свою он все-таки любил, а с матерью были африканские страсти, скорее всего, то, что сейчас сексом называется. Когда он ходить к ней перестал, она даже пить пробовала. Но не вышло, женщины в нашей семье алкоголь не переносят. Спустя три года она ушла из медсанчасти, устроилась в поликлинику у дома, на участок, и там всю оставшуюся жизнь проработала. Ну, это вы и без меня знаете. – Жанночка замолчала и неумело закурила Галкину сигарету.

– Брось, Жаннуль, – попросила Таня. – Тебе курить никак нельзя.

– Да какая разница, – вяло ответила Жанночка.

– Ну что, девочки, чай? – попыталась разрядить обстановку Таня.

– Кофе давай, – угрюмо проговорила Галка. – А так по тете Оле не скажешь – ведь ухоженная, помада, серьги, при полном марафете. А на душе, как видно, погано было.

Жанночка заплакала.

– Галь, хватит тебе, – взмолилась Таня.

Жанночка посмотрела на часы:

– Ой, господи, время сколько. Да ладно, все равно такси вызывать. Надралась, как свинья.

– Оставайся у меня, – предложила Таня.

– Нет, нет, что ты, я привыкла к своей постели, уж извини. Попозже поеду. В себя только приду чуть-чуть.

Таня встала к плите варить кофе – сердце так бабахало, все равно не уснуть. Такой день. Такой вот тяжелый день. Она задумалась о своем, и густая пенка выплеснулась из турки на плиту и зашипела – Таня ойкнула. Она выключила газ и посмотрела на притихших подруг. Галка молча курила, уставившись в одну точку, а Жанночка, тихо поскуливая, продолжала размазывать ладонью черные остатки туши по щекам. Таня стояла у плиты, обняв плечи руками.

– Ладно, девочки, теперь, видно, настал мой черед, – тихо сказала она. – Не думала я, правда, что когда-нибудь озвучу вам эту историю. Но как-то нечестно получается. Хотя это мамина тайна, а не моя. Но сегодня, видимо, день такой. Начали, как всегда, за здоровье, а кончили...

Галка удивленно вскинула на нее глаза:

– И что, под вашей крышей тоже свои мыши?

– Ну не без этого, – горько усмехнулась Таня и начала рассказывать: – Ну, значит, так: отец пришел с фронта с ранением в позвоночник в 43-м. Мы с мамой были в эвакуации в Омске. Там она работала по шестнадцать часов в сутки, я сидела дома одна. Страшно было. Мама мне на обед оставляла картошку под подушкой, в кастрюльке, закутанной в газеты, – чтоб не остыла. А я ее уже утром съедала. Помню, к вечеру есть уже опять безумно хотелось, а мама удивлялась – ты же обедала, Татка! Приходила она замученная, продрогшая, ноги грела бутылкой с горячей водой. Даже есть не могла – так уставала, только чай пила, морковный или свекольный. Отец нас не дождался – умер через полгода от ран, они так и не увиделись. Успел только четыре письма написать, мама их все время перечитывала. Вернулись мы в нашу комнату на Петровке, а там все газетами прикрыто – отец от пыли все укрыл. Под кроватью нашли мешок фасоли, мешок лука и банку настоящего чая. Это он нам успел оставить. И еще вещи его – аккуратно, стопочкой, на стуле.

Могилы у него не было – похоронили в общей, хоронить-то его было некому, его никто и не забрал. А эту общую могилу мы с матерью так и не нашли. Только предположительно, примерно нам объяснили, где он может

лежать. Но ничего, как-то обвыклись, успокоились. Мать долго не могла на работу устроиться – профессии-то не было. Это потом она бухгалтерские курсы окончила, года через три, а сначала взялась крючком салфетки кружевные вязать – нитки нашла в комод, еще бабушкины. Разводила марганцовку, зеленку, чай – салфетки получались розовые, малиновые, зеленые, бежевые. Только шли они все равно плохо – так, по знакомым, по своим. Один раз она на рынок с ними пошла, но стеснялась продавать с рук жутко. Так еще на рынке встретила старую знакомую, а та заохала, запричитала: «Ах, Верочка, как же так вы тут торгуете?!» Дура. Мать расплакалась и больше на рынок не ходила. В общем, бедствовали мы страшно. Продали все, что можно. Только с часами отцовскими она расстаться не могла. Я до ноября ходила в парусиновых туфлях на картонной подошве. Помню, суп варили из воблы с пшеном. Тот еще супчик, прямо скажем! Ну, это я так, к слову. – Таня вздохнула и замолчала, потом усмехнулась: – Ну а теперь – к делу. Сосед у нас был, старичок такой, сухонький, мелкий. Как войну пережил – не знаю. Шуршал тихо, как мышонок, у себя – не слышно, не видно. На кухне только кисель варил из концентрата – брикеты такие бурые, помните? Меня угощал. Помню этот тягучий сладкий кисель и круглое овсяное печенье сверху. Это был праздник. Я половинила печенье – маме вечером, к чаю. А потом ходила кругами вокруг него и – не выдерживала, съедала. Стыдно было, но ничего с собой поделывать не могла. Ребенок ведь, господи, полуголодный! Так вот, у этого дедули, Михал Абрамыча, дочь сидела – попала в последнюю волну, в пятьдесят втором, по делу врачей. Но уже в пятьдесят третьем Сталин сдох, и Абрамыч понимал, что его дочку Женечку скоро выпустят. А он был уже очень плох, почти не вставал. Как-то позвал он маму и сказал ей: «Верочка, у меня дело к тебе крайне важное. Знаю, что все выполнишь, как я скажу. Не обманешь». И дал маме кольцо – старинное, наследное – желтоватый бриллиант, огромный, с вишню, наверное, в четырех лапах. Я это кольцо как сейчас помню, представляете? Короче говоря, попросил он это кольцо дочке передать, когда она вернется. Чувствовал, что не дождется, умрет. Говорил, что это от прабабки еще, у них в Вильно до революции ювелирный магазин был, кольцо – единственное, что у него осталось. Женечка будет носить или продаст – ее воля. Но будет это ей подмога – безусловно. Мать дала слово, а через две недели Абрамыч умер. Мать его похоронила и долго потом на могилу в Малаховку ездила. – Таня помолчала и проговорила: – Всю жизнь. Прощения просила.

Она опять замолчала. Ей вдруг стало зябко, и она накинула на плечи платок, висевший на спинке стула. Повисла пауза.

– За что, Танечка, прощение? – тихо спросила Жанночка.

Галка молчала – видно, все поняла.

– А за то, Жанночка, что кольцо она этой несчастной зэчке Жене не отдала. Не исполнила волю покойного. Правда, два года она кольцо держала, прятала. Мешочек полотняный сшила и за батарею повесила. Женя все не появлялась. А потом мама кольцо продала. Хорошо продала, дорого. Какой-то генеральше через знакомых. Мы тогда отъелись, мебель купили, холодильник «Север», пузатый такой. Маме пальто сшили, синее, из тонкого трофейного сукна, с каракулем на воротнике и рукавах. Мне шубу мама купила беличьей, серенькую. Лезла, правда, она страшно. Везде эта белка свои следы оставляла. Еще мы летом в Ригу съездили к маминной подруге Эльзе. Я тогда впервые море увидела и янтарь на берегу собирала. Тогда его много еще было.

А в пятьдесят девятом вернулась в Москву Женя. Евгения Михайловна. Освободили ее в пятьдесят четвертом, но она вышла замуж там еще, тоже за сидельца, и они поехали в Душанбе к его родне. Она откуда-то узнала, что Абрамыч умер, и поэтому в Москву не торопилась. А когда приехала – так, проездом, они в Душанбе уже осели, – мама ей открыла комнату Абрамыча. Женя пробыла там два дня, собирала какие-то книги, письма. Нашла два стакана серебряных, с чернью, очень старых, видно. Один маме отдала. «Это вам за папу, спасибо за все, спасибо, Верочка, что смотрели за ним, хоронили».

Мама стояла и плакала. И Женя плакала. Мама стакан брать не хотела, а Женя все равно его оставила – на кухне в шкафчик наш убрала за крупу, подальше. Мама его спустя месяц нашла. Держала в руках и ревела, ревела белугой. И все причитала: «Женя такой благородной оказалась, а я – тварь, последняя тварь».

Я думаю, если бы она Жене про кольцо сказала, та поняла бы, не осудила, но мама в себе сил не нашла. Не смогла признаться. А Женя эта, Евгения Михайловна, долго маме письма писала. Да что там письма – посылки присылала: гранаты, огромные, с бурой кожей, белые и сладкие внутри. А потом нас сломали и дали квартиру на «Молодежной». Но это уже Хрущев. Когда что-то случалось – ну, болела мама или я, или другие несчастья, мама все говорила: «Ну поделом мне, по справедливости». А перед смертью она все же Жене в Душанбе написала, все рассказала. Но письмо пришло обратно. Адресат выбыл. Женя умерла.

Таня замолчала и сбросила платок – ей внезапно стало жарко.

– Окно открою, а, девочки? – И, не дожидаясь ответа, она широко распахнула створку.

В окно влетело несколько крупных снежинок и осело на подоконнике. Пахнуло бензином, свежим морозцем и ночным городом.

Жанночка жалобно сказала:

– Танюш, можно я у тебя останусь, совсем нет сил домой ехать.

– Господи, да конечно, Жаннуль, я тебе постелю на диване.

– Да не стели, дай просто подушку и плед, – жестко сказала Галка. – Стелить еще! Все так измучены, дальше некуда.

Таня отвела Жанночку на диван, та, всхлипывая, улеглась, и Таня укутала ее, как ребенка, как когда-то укутывала маленькую дочку – подогнув все края пледа плотно под Жанночкино тело. Галка забралась в кресло с ногами и укрылась Таниным пуховым платком.

– Ты, как ребенок, Галка, целиком в кресле уместилась, – улыбнулась Таня. – Ну, отдохайте, девочки, а я пойду – посуду домою и тоже лягу.

Жанночка что-то забормотала в ответ, но было видно, что она уже засыпает. Галка тоже закрыла глаза и что-то хрюкнула.

Таня вымыла посуду, убрала остатки еды в холодильник, протерла стол и плиту и подошла к окну. На улице не на шутку разыгралась метель. Градусник показывал минус пятнадцать. «Ого, – подумала она, – вот это перепады с почти нуля. Завтра точно давление подскочит. И сердечко зашалит. Впрочем, от погоды ли? Какой тяжелый день, какой тяжелый! Ведь завтра все мы об этом пожалеем. Точно пожалеем. Это же не наши тайны. А значит, они должны быть неприкосновенны. Думали, все быльем поросло. А нет. Просто выпили, старые дуры. И понеслось. Галка, как всегда, первая. Провокатор по жизни. Поп Гапон. Все это не должно было всплывать, не должно обсуждаться! – Таня вздохнула: – Ну ладно, что сделано, то сделано.

А все равно они были святыми. Столько вынесли на своих плечах. Непосильные ноши. Не для человеческой, не для женской доли. Слишком много досталось. Страшные судьбы. Страшная страна».

Таня долго умывалась холодной водой – лицо и шея горели. Уже лежа в постели и почти засыпая, она вспомнила слова – веселые и звонкие, как полагалось: «Легко на сердце от песни веселой!» И вспомнила, как они, их матери и тетка, дружно, стройными голосами выводили эти бодрящие слова: «Легко на сердце от песни веселой! Она скучать не дает никогда!»

«Легко – подумала Таня. – Просто легче не бывает. И только бы уснуть, уснуть, ну пожалуйста, Боженька, так надо уснуть! А завтрашний день мы как-нибудь переживем. Не впервой». Но думать о завтрашнем дне было жутковато. Дай бог ей выспаться и прожить завтрашний день. Он обещал быть не легче предыдущего.

## Божий подарок

Об этом Божьем подарке никто уже и не мечтал – ни сорокалетняя некрасивая Фира, измученная болезнями и двадцатилетними хождениями по врачам, ни сорокапятилетний Натан, неутомимый трудяга, давно смилившийся с болезнями любимой жены и своим несостоявшимся отцовством. Хотя кому-кому, если не им, должен был послать Бог дитя, да не одно, а как минимум троих. Им – трепетной и мягкосердечной Фире и Натану, крепко стоявшему на своих кривоватых ногах на этой грешной земле. Благополучие и достаток в семье он обеспечивал, а как же иначе? Натан был скорняк – своими короткими и толстоватыми исколотыми пальцами он шил легкие и пушистые шапки, да не просто убогие треухи, он был художником в своем деле. Например, легкую шапочку из белой норки он непременно украшал элегантным цветком из норки черной, а царственную соболиную – легким пером из крашеной лисицы. Это были не шапки, а шляпы и шляпки. Понятное дело, заказчиков была уйма. Трудился Натан от зари до позднего вечера, перетруждая свои подслеповатые глаза, и так подпорченные постоянным чтением Торы.

Фира многого не просила, но тогда была еще большая семья: Фирин брат-инвалид, одинокая сестра Натана в Тирасполе, старая тетушка в Риге. Натан держал в своих трудовых руках всю эту семью.

О том, что она беременна, Фира узнала в октябре, после очередного грязевого курорта, последнего, как она решила, в ее жизни. Тошнило сильно почти все девять месяцев, живот был огромный, Фира страшно отекала, и лицо ее покрылось темно-коричневыми пятнами. И распух без того не маленький фамильный Фирин нос. Роды принимали лучшие профессора лучшего в те годы роддома. На ошибку права они не имели. Родилась девочка – крупная, толстенькая, с черным пухом на голове. Куколка. Натан таскал ее на руках ночи напролет – не дай Бог, пискнет! Измученная Фира лежала на высоких подушках, сцеживая молоко из изможденной груди, и счастливо и слабо улыбалась. Господь услышал! Не зря, не зря они молились и вели праведный образ жизни! Господь их услышал. Аминь!

Девочку называли Розочкой. Она и вправду была похожа на бутон – розовощекая, синеглазая, с россыпью нежных детских кудрей. Натан сходил с ума, покупая у спекулянтов кружевные платица, мутоновые шубки, свежие фрукты и черную икру. Розочке ни в чем не было отказа.

«Мамелэ моя, кецелэ, цветочек мой», – шептал Натан.

– Ты губишь ребенка, – предупреждала его мудрая Фира.

Как в воду глядела. Станные повадки образовались у Розочки рано, года в три: истерики с валянием на полу, бесконечные «хочу» и «не буду». Решили отдать в детский сад. Отрывали с кровью, но Розочка пришла в сад спокойно, деловито оглядела поле брани и к действиям приступила немедленно.

Гадила она по-всякому: и изощренно, и так, походя. Например, не забывала плюнуть в суп соседке по столику, изуродовать красками нищие детсадовские обои и свалить это на других, бросить в чайник с какао парочку свежепойманных тараканов. Словом, старалась на славу – не скучала. Родители возмущались, воспитательницы отказывались брать Розочку в свои группы, Фира рыдала, Натан скрипел зубами и исправно молился.

Из сада «ангелочка» пришлось забрать. Когда Розочке было лет семь, в большой коммуналке на Кировской стали пропадать деньги из случайно забытых сумочек. Сумочки стали лихорадочно прятать. Потом стала исчезать мелочь из карманов пальто и плащей.

– Боже, чего не хватает этому ребенку? – восклицала Фира и воздымала руки к небу. Натан все отрицал: не пойман – не вор. Вскоре девочку поймали с поличным: пропало старинное Фирино кольцо, бриллиант в черных эмалевых лапках – единственная память о матери, – а затем оно обнаружилось в кружевном розовом гольфике, спрятанном под подушкой.

Фира сидела, оцепенев, пару часов на диване, потом пошла к подруге-соседке, Павле Лаврентьевне. Рассказала всю правду о своей беде. Павла откликнулась:

– Бесы в ней, Фира, окрестить ее бы надо.

– Ты с ума сошла! Натан умрет, если узнает. А без его воли я на это не пойду.

– Ну, жди, может, перерастет, – слегка обнадежила добрая Павла.

Фира пыталась с Розочкой разговаривать, но здесь ее надолго не хватало:

– Как же так, Розочка, ну что тебе еще нужно? У тебя же все есть, детка!

Розочка молчала как партизан и догрызала остатки ногтей.

К пятнадцати годам она окончательно превратилась в писаную красавицу, но кто над этим умилялся? В девятый класс ее не взяли, пришлось идти в ПТУ на парикмахера. Розочка плевалась:



– Тьфу, в чужих вшах ковыряться!

ПТУ не окончила, связалась с дурной компанией – дворовые посиделки до утра под блатные песни, семечки, водка, мат... В шестнадцать сделала первый аборт, подпольный, но все прошло без сучка без задоринки. Через два часа после адской процедуры уже сидела во дворе и пила пиво. Несчастные родители об этом ничего, слава богу, не знали. Натан страдал и болел. И то и другое он не умел делать вполсилы, впрочем, как и все остальное.

Умер Натан скоропостижно, от инфаркта, когда собственными руками взял у почтальона повестку в суд, где Розочка, правда, вначале проходила как свидетель. Но потом ее подельники ее же и заложили – какое-то дело об ограблении продуктовой палатки на платформе Сетунь.

Фира суд и приговор – три года лагерей – выдержала. А потом слегла. После смерти Натана жить стало почти не на что, но все же умудрялась отправлять дочери скудные посылки, а вот ехать к Розочке уже не было сил.

Роза вернулась худая, высохшая, с поредевшими когда-то роскошными кудрями. Много курила, с матерью почти не общалась. На могилу к отцу не пошла:

– Не верю я во все это.

Устроилась на почту уборщицей, но убиралась грязно, и вытурили ее оттуда быстро. Куда устроиться? В анамнезе – тюрьма, все про нее всё знают. К кому обратиться? Старый приятель Натана, портной, взялся учить ее кройке. Но кроила Роза плохо, неряшливо, ткань не экономила. Опять ничего не вышло. Наконец устроили добрые люди в артель по пошиву тапочек. Там она, правда, задержалась, и у нее даже стало что-то получаться, когда нехитрый мех попал в руки, – гены Натана. Приходила домой измученная, выпивала чаю с хлебом и ложилась спать. Ночью вставала и много курила.

А тут случилась у Розочки роковая любовь с директором той самой тапочной артели. Это был цеховик средней руки, женатый, еще не старый. От любви Роза расцвела, засинели глаза, появился румянец. Теперь она много ела – Фирины бульоны с клецками и запеканки, раздалась в бедрах, опять стала смеяться и покупать себе яркие шелковые платья. Любовник повез ее в Сочи, и там случились и самые горячие дни, и бессонные ночи. Розочка опять превратилась в красавицу. Фира плакала и молилась и часами рассказывала на могиле Натана о том, как все славно, и Розочкина работа, и про ее друга, хорошего человека (о том, что хороший человек был глубоко женат, Фира Натану не поведала), и про Черное море, и про яркие Розочкины платья и лаковые туфельки, и про хороший Розочкин аппетит.

– Успокойся, Натан, все у нас слава богу! – кривила душой бедная Фира. Но счастье и ее призрачный покой были недолги. Жена Розочкиного артельщика их вычислила и, неразумная, написала на мужа донос – обо всех его делишках и, конечно, левых приработках. Не забыла и про Розочку, сделав ее соучастницей. Сел сам фигурант, и туда же попала Розочка – припомнили ей первую судимость.

Фира снова выжила и опять писала дочери письма. Натану про это она ничего не рассказала, просто молча прибирала могилу. Вернулась Розочка через четыре года, без зубов, разбитая, больная. Павла отпаивала ее зверобоем и прочими травами. А Роза опять пила крепкий чай и тянула папиросы. Есть почти не могла – желудок болел так, что часами валялась скрюченная на диване. Фира, уже почти слепая, протирала ей овощные супы и распаривала под подушкой каши.

Вот тогда-то и отвела соседка Павла Розочку в церковь.

– Креститься надо, дочка, не смотри на то, что ты другой веры, окрестись!

– Да какой я веры, тетя Паша? У евреев таких детей не бывает, так что нет у меня ни нации, ни веры.

Крестила Павла Розочку в маленькой сельской церкви, где когда-то жила родня доброй Павлы и даже остался полусгнивший дом Павловой тетки. Розочке так понравилась деревня с названием Грибановка, и старый наследный Павлин дом, и заброшенный яблоневый сад, и маленькая, в один купол, церквушка, и отец Сергей – бездетный вдовец, человек мягкий и добросердечный! Тут впервые Розочку не ругали, не мучили и не причитали над ней. Ее просто жалели и ничего не хотели взамен. Розочка ездила в Грибановку два года и даже пела в хоре – у нее вдруг обнаружился не сильный, но глубокий голос и прекрасный слух. А на третий год она вышла замуж за регента церковного хора – человека немолодого, тихого и доброго, и перешла в его светлую избу в чем была – с легкой парусиновой сумкой через плечо.

Почти в сорок (Фирины гены!) она родила дочку, а через два года – еще и мальчика. Фиру она, конечно, забрала к себе, но помощница из матери была уже никакая. И еще Розочка научилась варить супы и печь пироги. Хозяйка она была неважная, но в доме царила чистота.

– Устала я от грязи, – говорила она.

Матерью она была трепетной, но строгой, больше всего боялась забаловать детей, а вот женой стала покорной и молчаливой.

Как-то старая Фира, предчувствуя, видимо, свой скорый конец, попросила дочь свозить ее в Москву, на кладбище к Натану. Фира долго

сидела на старой, почерневшей от времени скамейке и подробно рассказывала Натану про чудесную Розочкину жизнь, про внуков – Леночку и Толика, про заботливого Розочкиного мужа, про большой и светлый их дом, и даже про неудавшиеся Розочкины пироги – все с улыбкой на старом морщинистом лице, по которому текли бесконечные слезы. Только вот о том, что Розочка уже не Розочка вовсе, а называют ее после крещения Раисой, и что муж у нее – церковный регент, старая Фира Натану не сказала. Испугалась, что ли? Ну вот почему-то ей казалось, что из-за этого он все-таки расстроится. Или, может быть, она ошибалась?

## Ассоциации, или Жизнь женщины

И как возникает, на уровне подсознания, что ли, эта сильная память сердца и души – воспоминания? То, чего у нас точно никто не сможет отнять. Что точно – только наше. И странно, но с годами яснее и четче вспоминаешь о чем-то хорошем – какая-то защита памяти, что ли, да нет, плохое тоже не забыто, но, слава богу, как-то стоит вторым рядом. Хотя, справедливости ради, помню все.

Сначала визуальные: какие-то места в Москве, такие привычные и родные (хотя как варварски их пытаются сегодня изменить!). Вот здесь я бродила со своим первым мальчиком, вот здесь до одури целовалась, а здесь, здесь мы так яростно и отчаянно ссорились. Здесь прощалась навсегда с близкой подругой, а здесь, в этом доме, были самые бессонные и трепетные ночи в моей жизни. А отсюда я вышла на свет Божий, держа в руках сверток с сыном – конверт с голубыми шелковыми лентами.

А музыка? А самые острые воспоминания – запахи? Теплый подмосковный дождь – это точно запах детства, перрон, сосны. Вдох глубокий-глубокий. Да, это дача. Юная и беспечная дачная жизнь – мальчишки, велосипеды, гитары, речка, сено, стук сердца где-то в горле. Все это – ощущение абсолютного счастья и того, что все еще впереди.

Это еще нестарая и крепкая бабушка, державшая на своих плечах большую семью, ее обеды, которые я торопливо проглатывала, потому что мне надо бежать, да просто некогда мне, и все. Дача – это маленькая сестра и постоянный страх за нее, так сильно я ее люблю. Это выходные и мама с папой с сумками вкусоностей. Мы с сестрой часами встречали родителей на дороге, держась за руки.

Это совсем еще молодые и здоровые родители. Выпускной – начало огромной, прекрасной и пугающей жизни. В мусор – старую, ненавистную школьную форму вместе со школьной опостылевшей жизнью. Весь мир у моих ног! И все главное впереди. И еще песня: «Прощай и ничего не обещай...», которую ночью мы орем во все глотки и все равно обещаем друг другу, обещаем. И эта песня тоже на всю жизнь: мой выпускной и моя многообещающая юность.

А зеленое шифоновое платье с розовой вышивкой – это свадьба, и я – невеста и красавица. И полное счастье, потому что я по уши влюблена. И именно в таком состоянии я собираюсь прожить всю оставшуюся жизнь. Но... Не вышло.

А крошечная желтая распашонка с утятами и клеенчатые бирочки с почти стершимися буквами? И красная пластмассовая рыбка – то, что ты просто не смог сломать, сынок, мой бородатый, мускулистый взрослый мальчик? Это – из твоего детства, а значит, самое главное из моей жизни.

Запах терпкого одеколona и сирени, запах моей тайной любви и тайных, торопливых свиданий. Мои лучшие стихи и мои самые большие выдумки. Наши вороватые ночи и запретные ласки. Моя самая большая любовь!

Но когда-нибудь, когда-нибудь неизбежно уйду я, и уйдут вместе со мной мои воспоминания, все мои ассоциации, весь мой мирок – со всеми вытекающими, нужными мне и ненужными остальным подробностями. Моими мыслями, переживаниями, так разрушающими меня и впоследствии, как правило, кажущимися и мне самой нелепыми и смешными, моими чувствами, страхами, тоской, желаниями что-то изменить в жизни и в себе самой – и почти всегда оставшимися лишь мечтами. Моими комплексами, обидами, моей злопамятностью – или этим страдают все женщины? Моим постоянным недовольством собой и рутиной. И мысль, что я все-таки состоялась, пройдя самый важный и тяжелый путь на земле – матери и жены. Надеюсь, что я исполнила его хотя бы на четверку.

И уйдут вместе со мной мои сомнения и желания, отложенные в долгий ящик и так и не сделанные дела. И уйдет то, что я просто не успела, – неувиденные страны и города, непрочитанные книги, ненадетые наряды, непосаженные цветы. Несказанные добрые и мудрые слова, несовершенные яркие и просто хорошие поступки. И то странное чувство, что я не всему научила сына, не все отдала матери, не все сказала мужу, не обняла сестру, не объяснила подругам, как много они для меня значат. Я так много не успела, оказывается!

Господи, а что же я делала всю свою жизнь? Ведь у меня было достаточно времени! Как нудно и тщательно я вываривалась в собственном соку – хлопот, болезней, обид, пустых усердий и прочей колготни. Как много потратила я на это сил. А самое важное? Успела ли я сделать это? И что это – самое важное? Неужели я все-таки этого не поняла? Господи, куда меня занесло, а начиналось ведь так трогательно – воспоминания. И вот ведь в какие дебри! И еще: я часто рассматриваю фотографии каких-то уже совсем далеких предков или просто случайных незнакомых людей, где на коричневых картонках стоят либо сидят стройные или не очень, но точно подтянутые люди, непременно в «позах» (тогда ведь не было случайных фотографий), и долго и внимательно вглядываюсь в их лица. Тогда не

заставали людей «невпопад». Тогда они всю контролировали «выражение лица». А глаза? Вот глаза... Вглядываясь в эти лица, я вижу усталые или встревоженные глаза и обеспокоенность, напряжение, тоску чаще, чем вольную радость, ей-богу, чаще. И размышляю о том, что вот уже несколько десятков лет нет ни их самих, ни даже их внуков, нет ни забот, ни болезней, ни тягот. Ведь все это было очень давно, между прочим, в позапрошлом веке. Исчезли они, а вместе с ними их мир – тревожный и прекрасный. И можно долго размышлять и фантазировать, глядя на эти портреты.

Или вот, кстати, в руках у меня оказалась (это про ассоциации) известная уже столько десятков лет толстенная книга Елены Молоховец, конечно, переизданная. Листая ее вечером на любимой даче, в кресле, под оранжевым абажуром, я подумала: ох какая обстоятельная девушка была эта Молоховец! Как старалась все учесть, во все уголки и закутки быта заглянула, чтобы облегчить жизнь молодым да нерадивым. И наверняка помогала. Не сомневаюсь. Такой популярной и настольной была ее книга в те годы, думаю, зачитывали до дыр. И что-то завертелось в голове, выстроилось, и вот что из этого получилось.

Итак, прошла, прошелестела свадьба, скромненько, без особой помпы, да и к чему? Женился человек солидный, вдовец, чиновник, имеющий собственный небольшой дом на Пречистенке и прибыльное поместье в Смоленской губернии. Первая жена, царствие ей небесное, скончалась первыми родами, завершившимися очень печально – младенец тоже не выжил. Год отхоя в трауре, господин N (назовем его так) девицу берет уже крепкую, полноватую и рослую, не в пример худосочной, с темноватой кожей и впалыми испуганными глазами первой жене.

Вот теперь-то, задним умом, он думает о том, что не была здорова его первая супружница, да упокоится душа ее!

Вторая невеста рыжеволоса чуть-чуть и самую милую малость конопата. Она из семьи очень среднего достатка, в чем тоже есть свой резон: не избалована. Скромна, стеснительна, легко краснеет, мило теребит края шали и приятным движением поправляет гребень с перламутром в тяжеловатых, слегка выющихся медных волосах. Итак, свадьба проходит спокойно и чинно, без излишеств, но сытно. Хотя тещу сразу осадили – уж больно много хотела заказать к столу икры и белорыбицы. Да и вообще теща его уже порядком раздражала, на его расчетливость недовольно поджимала губы и, кажется, делала первые выводы.

Впрочем, и он свои выводы сделал: тап привлекать к дому как можно меньше, пусть будет и этому рада, ведь, положила руку на сердце, не

так уж чтобы очередь стояла просить руки ее дочери. На свадьбу он дарит невесте сапфировый браслет покойницы жены, она как-то это чувствует и горько и безутешно плачет, плачет всю ночь перед свадьбой, а утром, глядя на ее припухшие глаза, все решают, что так она прощалась со своим девичеством, и... умиляются.

После свадьбы она входит в мужнин дом, где ей все ново и чуждо, где еще пахнет другой женщиной, где она иногда находит то булавку, то шпильку и быстро бросает их, словно это гусеница. После первой ночи она боится смотреть на мужа и не хочет выходить к завтраку, притворяется, что долго спит. А он зовет ее и твердым голосом просит, чтобы к завтраку она пусть неприбранная, пусть в капоте, но выходила – таково его желание. Она заливается краской и кивает, рассеянно пьет кофе, крошит булочку и почти не слышит, что он ей говорит. Хотя, справедливости ради, ничего плохого и тем более страшного той ночью не было, да и противного тоже. Но вспоминать ей почему-то все равно этого не хочется.

Муж уходит на службу, и она остается одна в двухэтажном семикомнатном доме, где живет еще его, мужа, больная сестра, не выходящая из своей комнаты-закута с узким и темным окном, смотрящим на дровяной сарай. Еду ей носят в комнату. Стрижет и моет ее неряшливая горничная с мышинным и вороватым лицом.

– Она не будет тебе докучать, она у нас тихонькая, – предупредил об убогой родственнице муж перед свадьбой.

Еще в доме есть грубоватая, с насмешливым взглядом кухарка, служившая еще при прежней хозяйке. Она заходит и с усмешкой на толстых губах спрашивает у молодой барыни, что приготовить на обед. Барыня опять краснеет и теряется.

– А что барин любит? – смущенно спрашивает она. – Вам-то виднее.

Кухарка усмехается и понимает, что остается здесь хозяйкой навсегда. Это ее, видимо, вполне устраивает, и, тяжело ступая, она уходит на кухню рубить петуха. Вдыхая, молодая жена оглядывает столовую, где они только что пили кофе, и замечает, как плохо вымыто окно, как много пыли на тяжелых, местами заштопанных и выгоревших портьерах, замечает потертый, с большим пятном ковер, и старые выцветшие обои, и пыль на мрачноватых картинах, и щербатые чашки. И это ей все не нравится. Ох как не нравится.

Она потихоньку обследует дом и в первой же комнате, под лестницей, думая, что это кладовая, видит недоразвитую сестрицу, свою золовку. Та, бедная, испуганно забивается в угол, и лицо ее видно плохо, свет тусклый, воздух смрадный, посреди каморки стоит ночной горшок без крышки, а на

столе – остатки пирога, засохшие корки и немытая чашка. И запах, запах тлена, плесени, болезни и безумия. Кошмар. Она быстро захлопывает дверь, поднимается в спальню, садится на пуфик и опять начинает безудержно и горько рыдать. Ей кажется, что почему-то попала она в плен и что скоро сама превратится в безумную. И клянет свою неудавшуюся жизнь, которую она представляла как-то совсем иначе.

В тоске она оглядывает комнату и почти явственно ощущает присутствие и запах той женщины, первой жены, скончавшейся так недавно. И опять начинает плакать.

Но днем заезжает папан, придиричиво оглядывает дочь, хмурится, ей тоже как-то все не очень нравится, сует нос в кухню, приподнимает крышки кастрюль и чугунов, резким словом ставит кухарку на место, грозит пальцем горничной с мышинным лицом. Осеняет крестом дочь и, тяжело вздохнув, уезжает – у нее визиты, магазины, да и вообще дел невпроворот.

– Да, душа моя, – говорит она уже у пролетки, – чуть не забыла, это тебе. Развлекись, да и ума наберись. Разумнейшая вещь для таких вот, как ты, молодых и неопытных дам. Мне-то это уже ни к чему. – И протягивает дочери толстенную книгу: Елена Молоховец. «Подарок молодым хозяйкам». – Ну, с Богом, и хватит, пожалуй, уже рыдать.

И, отъезжая, расстроено думает: ничего, пройдет, это у всех бывает, через неделю-другую пройдет, успокаивает она себя. Почти наверняка зная, что так и будет. Почти наверняка.

А еще позже, к вечеру, заскочила, именно заскочила на полчаса на чашку чая любимая кузина – легкая, с тонкой талией, в модных туалетах и облаке последних ароматов Парижа. С самыми последними сплетнями и таинственными рассказами о себе. Она слушала ее затаив дыхание, и гулко стучало сердце. Грустно подумалось, что у нее никогда не будет такой тонкой талии и загадочных и волнующих историй. Кузина улетела. А она, промаявшись, легла спать – не ко времени, вечером. Сон ей не шел. Опухло лицо, и разболелась голова.

К приезду мужа заново причесалась, брызнула духами, надела длинные серьги с изумрудами – подарок матери к свадьбе. Муж пришел усталый, недовольный, взглянул на нее мельком и спросил: «К чему такой парад?» Губы задрожали, он увидел это, слегка смягчился и за ужином был опять приветлив. Потом долго читал газеты, пил чай и уснул на оттоманке в столовой.

Именно так, в пыли портьер, под жужжание полусонных мух и ворчание усатой кухарки, безрадостно и монотонно протекали дни ее



жизни. Из развлечений – редкие гости по субботам: муж не любитель компаний; иногда, крайне редко, выход в театр – а в театре он опять уснул и даже слегка всхрапнул, и она не знала, куда деться от стыда. Какой уж с ним театр! По средам ездила к маме, обедала – это был хороший день. По пятницам муж играл у соседа в бридж, и она всю ночь не спала и нервничала: а вдруг проиграется?

Но постепенно жизнь не то чтобы наладилась и обрела смысл, а стала привычной. Она почти перестала плакать и как-то смирилась. Пока однажды случайно не наткнулась на подарок маме – ту самую толстенную книгу «Подарок молодым хозяйкам». Присела в кресле, захрустела яблоком и... И с каждой страницей стала отчетливее понимать, что живет пусто и зря, не интересуясь главным – своим домом и семьей, почти наплевав на все это. Ладно была бы дамой светской, как, скажем, кузина, у которой весь смысл жизни в романах и нарядах, а у нее жизнь протекает, и ладно. И все не так и не то. Как-то непростительно и глупо, непозволительно так пусто жить! А муж – он просто должен бы был презирать ее за такую лень.

Взяв карандаш и блокнотик, стала она подчеркивать и выписывать то, что посчитала важным и главным, – и рецепты, и по части экономии, и про запасы и хранение, и все по части дома и сада, и как с прислугой управляться, и целый огромный список дел и правил вывела. И распорядок образовался, и планы наметились, и оказалось, что у нее дел невпроворот, только успевай – где уж тут скучать и томиться.

Как-то вечером она завела робкий разговор с мужем, поймав его в добром настроении, – о переустройстве дома, дескать, все старое, ветхое, латаное. Он отмахнулся – дорого, поди. А она ему так ловко бумажечку под нос: и про то, и про это, и где что почем и по сколько. Это – там купить, а это – здесь выгода. И совсем-совсем недорого.

– Ну, как тебе, милый?

Он, будучи человеком практичным, удивился такой работе, заинтересовался, нацепил очки на нос – и деньги выделил (без особой, правда, радости).

И закипела работа! Началась жизнь – кончилось сонное царство. Славась, великая Молоховец, на дело сподвигшая нас!

Сдирали старые шторы – пыль столбом, срывали обои – летели семейства клопов, выкидывали битые кастрюли и плошки, трудились хитрые и вороватые халтурщики (во все времена). А она, подбоченясь, зарозовев, руководила, покрикивала, почти не отпускала извозчика – то туда съездить, то это присмотреть. Ожила. В доме был кавардак, но глаза ее

горели, и она уже всю распоряжалась кухаркой и «мышинной» горничной, и те покорно слушали, признав в ней наконец хозяйку.

Несчастную больную сестру мужа из тухлой каморки милостиво вытащила, сообразив ей другую комнату с окном и видом на цветущий жасмин, а в той холодной и темной каморке соорудили кладовую. Спальню сделали в голубых тонах, столовую – в солнечных желтоватых. И никаких темных и тяжелых штор – легкий шелк, настоящий китайский, с прозрачными бабочками. Чуть-чуть за смету вышла, но муж ничего не сказал.

После созвали гостей – все ею восхищались, и мужу было приятно, и татам умилялась ее талантам. На базар теперь ходила с кухаркой вместе, разбираясь в мясе (слава тебе, Молоховец) лучше любого мясника: что на котлеты, а что на жаркое, а что на первое. Какую курицу взять на бульон, а какую потушить. Придирчиво осматривала творог, нюхала сметану, проверяла на истинность мед. И всему, всему этому учила ее верная подруга и наперсница – Молоховец.

Остатки теперь у нее не пропадали. Делали масло с рябчиком на завтрак из остатков рябчика и масло с селедкой, из отварного супового мяса лепили пирожки, корка от окорока шла в гороховый суп. И даже из оставшейся от завтрака манной каши к вечернему чаю пекли оладьи, а из арбузных и дынных корок варили цукаты. На сухих черных корках настаивали квас – на летнюю окрошку, из опавших яблок изготавливали уксус.

Корицу теперь они просушивали и толкли с сахаром, и горчицу в майонез растирали под ее приглядом. Кофе жарили и мололи столько, сколько нужно на один раз. По списку, тщательно проследив, закупалась вся посуда для кухни и столовой – сервизы, противни, сковородки, сотейники и вертела, медные тазы для варенья и рашперы для бифштексов, и вафельницы, и совок для муки, и формочки для заливных и желе, и формы для пудингов на водяной бане, и формы для пудингов, запекаемых в духовке, и формы для паштетов, и формочки для фигурного нарезания кореньев, и большое деревянное волосяное сито, чтобы сеять муку, и маленькое ситечко для просеивания сахара... И большое деревянное решето, перетирать творог и яблоки, и резец для обрезки хвороста и вареников, и венчик для взбивания белков, сливок и мусса, и мельницы для перца, и жаровня для кофе, и мороженица, и сечка, чтобы рубить капусту, и деревянная дощечка для чистки селедки, и лопаточки для размешивания подлив, и кисточка для смазывания пирогов и булок яйцом, и металлическая шпиговка для жаркого... Ступки с пестиком. Весы.

Воронки. Этажерки для раков. Бумажные папильотки для пожарских котлет. Наборы емкостей для уксуса, оливкового масла и горчицы. Графины для водки и воды, для пива – с высокими стаканами. Столовые и чайные сервизы. Столовые щетки для сметания крошек со стола с небольшим подносыком. Et cetera.

О Молоховец! Ты учишь нас жить. Ты не просто навязчиво учишь, ты тактично поучаешь и наставляешь. Учишь быть экономными и разумными. Падаем ниц. Занавес.

Обновив дом за небольшие и очень разумные деньги (и получив превосходный результат), она так же лихо занялась садом, выписала журналы по благоустройству и садоводству, добавила фантазии... И сделала милые клумбы из флоксов, тюльпанов и георгинов, изничтожив на корню простонародную мальву.

Теперь ей дня не хватало. А впереди были август и заготовки на зиму. И тут она почувствовала, что происходит с ней что-то не то. Устала, наверное. Но тамап засомневалась, а доктор подтвердил. Муж умилился.

– Хорошо, будешь ходить зимой, летом тебе тяжело, ты грузная.

Узнав об этой новости, кузина сморщила носик – она жила другими категориями. Беременность переносила тяжело, живот был огромный, ноги опухали, последние недели лежала и страшно боялась умереть родами. Но все, слава богу, обошлось. Родила она девочку, крупную, рыхловатую и рыжую – словом, свою копию. Муж перед родами страшно нервничал и сильно напился у соседа, сел играть и здорово проигрался. С нервов и испугу, как объяснил потом.

И понеслась ее жизнь скорым галопом – дом, хозяйство, муж и дитя. Дитя – главное. Девочка была беспокойной, ночью не спала, и она все прислушивалась и бежала в детскую. Няня няней...

Весна пришла медленно и запоздало, по-московски, а к лету решила по совету доктора ехать в имение мужа. Черт-те куда. Именьице небольшое, дела, как отписывал управляющий, уже шли плоховато. Муж туда не наезжал. Двинулись большим обозом – муж, няня, горничная.

Имение и вправду оказалось в ужасном виде. Еще в худшем, чем представлялось. Управляющего рассчитала в три дня; муж в этом не участвовал и, побыв неделю, поспешил в Москву – служба.

Он уехал, и началась работа, началась жизнь. Все мыли, скребли, оттирали, красили, подбивали, обрезали старый сад, посыпали гравием дорожки, обновляли клумбы. Она писала матери в Москву – прислать то, это – здесь все сгодится. Вида гнездо. Девочка стала спокойнее, спала лучше, золотуха прошла, начала улыбаться. Первые зубки, первые шажки –

все в деревне. А тут пошли и ягоды, и овощи. И вытащила она на свет божий свою уже потрепанную подругу, потертую, помятую слегка, в пятнах масла и ягод, хранившую между строк запах корицы и ванили. А ну помогай! И та помогает.

И варили варенец с серебряной закваской из парного молока, и делали крем из брусники со взбитыми сливками – к вечернему кофе, яблоки и сушили, и мочили, и варили из них пастилу, и делали мармелад из слив, и груши в меде, и вишни сушили и мариновали, а крыжовник шел на морс и опять же на пастилу, и сушили малину от московских зимних простуд, и мочили бруснику.

А маринованный шиповник? А клубничное желе? А желе из черной смородины, а конфеты из красной? А рябина в сахаре? А киевское сухое варенье? А рыжики соленые и маринованные? А сушеные боровики? А соленые грузди и волнушки? А огурцы соленые – с горчицей и хреном? А заготовка кореньев на бульоны? Ничего не забыли?

Словом, не скучал никто. Все трудились весь светлый день, уставали, злились на хозяйку и уважали ее. В общем, отлетели лето и теплый сентябрь, и двинулся их сытый обоз к Москве. В Москве она нашла запустение в доме – естественно! Привела все в порядок, с мужем встретилась приветливо, но спокойно. Он, увидя плоды ее трудов, покачал головой, ну, ты, дескать, матушка! Зауважал. И подумал, что в этот раз не ошибся, не прогадал. И как почувствовал? Ведь обычная девица была, робкая, тихая, плаксивая, а какова оказалась! Удивлялся своей прозорливости и уму. Думал, в том его заслуга.

А она, обустроив все и расставив, съездила к татап и, поймав на себе жалостливый взгляд кузины, почувствовала себя провинциальной и убогой. Затосковала, разглядывала себя в зеркале подолгу, видела, что все еще молода, и волосы с медным отливом, и глаза зеленые, кожа белая. Утянулась потуже в корсет – вполне еще, вполне. Упросила мужа отпустить ее с татап и кузиной весной на воды (по женским, дескать, болезням). Муж легко согласился. Собиралась долго. Кузина – а опытнее человека и не найти – отвергала и те ее наряды, и эти. Решили, что купят на месте, а доедут уж как-нибудь.

На водах было общество. Целый день пили воду, слабило живот, слегка худели, по вечерам гуляли и набирали потерянное горячими яблочными штруделями. Кузина и там завела роман. А она, купив с десяток платьев, не спала пару ночей – не привыкла так тратиться! А обувь, и сумочки, и духи! Матап одобряла:

– Вот теперь ты женщина, теперь ты дама! А то все коз пасешь в своей

деревне.

Скучала по дочке и мужу, жалела потраченных денег, тяжело вздыхала и засыпала лишь под утро.

Возвращались радостно, с подарками, отдохнувшие, всех обняла – дочку, мужа. Все здоровы, слава богу. Смущенно показывала мужу наряды – он одобрительно кивал. Дома наконец стала крепко спать.

И снова лето, деревня, все то же, тот же ритм, только заезжает почаще и сидит подольше сосед-помещик. Пьет чай, молчит и подолгу ей смотрит в глаза. А она... она краснеет, как девица, и опять не спит. И нет рядом ни мамы, ни кухни – и не с кем словом перемолвиться. И идет она на свидание с ним в беседку ночью (как банально!), и целует его, как никогда не целовала мужа, и наутро понимает, что погибла. Словом, случается с ней то, что случается с каждой женщиной хотя бы один раз в жизни наверняка.

И не знает она, бедная, что ей делать. На этот вопрос в ее любимой книге ответа нет. Но все решается, как всегда, само собой. Соседа вызывают спешные дела в Петербург, и она остается одна на территории их любви. Ходит кругами, и почти воет от тоски, и гладит рукой их скамейку, и целует курительную трубку, которую он позабыл, – это все, что у нее осталось от их любви. И плохо варятся варенья этим летом, и плохо солятся рыжики и маринуются огурцы. Молоховец была бы ею недовольна.

Но подошло время собираться домой, и она, бледная, измученная, с потускневшими волосами (это случается с медноволосыми людьми), возвращается в Москву. Молчит, слоняется по дому, где все немило, все – тоска. Плачет, почти не ест, плохо спит – мается. Мамы настаивает на докторе, муж расстроен и пожимает плечами, нагло ухмыляется «мышинная» горничная, невольная свидетельница ее тайной радости и скорой беды. Догадливая кухня щурит глаза и грозит изящным пальчиком, дескать, все, милая, с тобой ясно. А ей от этого не легче. И пьет микстуры, и кутается в шали, и слоняется без дела, на все наплевав. Запустила дом, дочку то прижмет к сердцу и рыдает, то скажет сухо: «Пойди к себе».

Ездит в церковь чаще прежнего. Так проходит зима. А к весне она вдруг начинает много спать и много есть. Пьет много кофе со сливками и ест пироги и сладкое. Припухает милое лицо и отекают ноги, а домочадцы радуются – оттаивает. Но и вправду к Пасхе она оглядывается и видит: дома запустение, грязь, паутина, посуда не чищена, муж необхоженный и жалкий, – и берется за дело. К Пасхе все сверкает. Пекут куличи. Где ты, где, моя верная советчица, как я позабыла про тебя, уж ты-то точно не подскажешь ничего плохого? И делают пасхи – заварные и миндальные, сливочные и с фисташками, и красят яйца в лоскутах шелковой материи. И

куличи пекут простые и с цукатами. И вновь советует ей верная Молоховец, как придать сахару вкус апельсиновой цедры и запах флердоранжа, и еще как сделать сахар с ароматом кофе или ванили. Вдобавок пекут крендельки и штрудели с маком. И приходит Праздник!

А к маю ищет причину, чтобы не ехать в деревню, потому что больно. И судьба опять решает за нее: приходит письмо, что был пожар и дом сильно пострадал. Причину утаивают, естественно. Муж едет на место, возвращается расстроенный, восстановить нельзя, а надобно сносить, и опять нужны деньги, деньги, деньги... Они продают свое хозяйство соседу. Без выгоды, а что делать?

Тут она пугается того, что рада в душе, что так все вышло и что ей некуда больше ехать. И еще: что это наказание за ее грехи и (совсем уж образно) что это пепелище ее любви.

Потом выясняется, что она опять беременна, и доктор считает, что это кстати. Они с татан едут на лето к родне в Малороссию, погостить. Там видят, что дамы живут без особых хлопот, не бьются по хозяйству, гуляют, читают книги, выписывают журналы мод, земли их богаты, климат теплый, дети не болеют. Они купаются в широкой и теплой реке, едят сочные персики и груши бергамоты – и много смеются.

Вернулась здоровая, окрепшая, наладила хозяйство. Но тревожил муж – возвращался поздно, и коньяком от него пахло сильнее обычного, глаза воспаленные и беспокойные. В общем, вид хуже некуда. Ночью проснулась – в спальне его нет, вышла – сидит в столовой, курит. Сначала отнекивался, потом признался, что проигрался. Все деньги, вырученные за имение, да еще и из ее приданого. Долгов наделал, бессердечный. Плакал, целовал руки, стоял на коленях. Казнился. Ушла в кабинет – просидела до утра в горьких думах. К утру разболелся низ живота. Думала-гадала, как быть, и решила: дом продавать жалко, а вот сдавать его часть – разумно.

Обрадовалась, что так скоро к ней пришла такая хорошая мысль, разбудила мужа; он со сна мало что понял, только кивал и соглашался. Придерживая живот, прихрамывая (болит!), осмотрела дом, вызвала мастеровых – и закипела работа. Родственницу (а она все жила, бедняга) опять задвинули в чуланчик – ей-то уж все равно. Из комнаты с окном на флоксы сделали маленькую столовую, дальше – спальню и прихожую, еще отдельный вход. Квартирка получилась маленькая, но уютная. Решили сдавать с обедами семье без детей. Все – выход. И потихоньку отнесла она в заклад и брошь с изумрудом, и браслет с сапфиром – подарок мужа, и серьги с бриллиантами – из приданого. Обратно за ними не вернулась. Бог со всем этим!

Сын родился раньше срока, но выжил и, конечно, был очень слабеньким. Но муж сына обожал, не спускал с рук, баловал, возлагал надежды. Да, между прочим, той осенью в спальне под креслом она нашла дамскую заколку, узнала ее – в точности такая была у кузины, – но скандал решила приберечь на «потом», заколку убрала, а затем о ней и вовсе забыла. Столько всего навалилось! Как-то, перебирая гардероб, наткнулась на те наряды, что купила на курорте, примерила – все, конечно, тесно, даже обувь, да и из моды уже вышло. Всплакнула, непонятно кого жалея сильнее – себя или выброшенных зря денег и неполученного удовольствия. Ботиночки отдала горничной, а платья отнесла в церковь. Рассматривая себя в зеркале, поджимала губы, видя, как по дням, по часам истекает ее женская прелесть и миловидность – тяжелеют ноги, опускаются груди и живот. А волосы, ее гордость, тоже редуют и тускнеют, и уже пробивается седина. А морщины?.. Да что говорить!.. И скоро перестала разглядывать себя в зеркале. Совсем.

Муж стал попивать, правда, дома – херес, ликер, коньячок. Она не переносила запаха и отделила его в кабинет. А он и не сопротивлялся. Но все-таки иногда еще мечталось, что будет полегче, поменьше забот и что они поедут надолго к морю – ведь дети так слабы, им так бесполезен московский климат. И что съездит в Ревель к подруге, а в Варшаву перебралась ее крестная, и как бы хотелось повидаться с ней. И еще: очень хотелось на зиму теплую и легкую шубку, почти пальто, суконную, подбитую рыжей куницей – рыжий ей по-прежнему шел (на эту шубку она ходила любоваться на Кузнецкий). И хотелось опять обновить мебель и хоть изредка посещать модный «Славянский базар» – шикарный и вкусный. Мы не загадываем, мы мечтаем.

Но с каждым годом надежд оставалось все меньше, правда, сил и желаний – тоже. Да вот и болячки появились, и похоронила она татап, и стал болеть муж, и уже почти не вставал, надрывно кашляя по ночам. Дочка вышла замуж, и свадьба была не из пышных, а денег потратили много. Сын много курил, выпивал и играл в карты, и ей не нравились его друзья – пустые люди. А потом еще связался с актеркой и совсем пропал – страдал, мучился, а вместе с ним страдала и мучилась она, ворочаясь и тяжело вздыхая по ночам. И только молилась, молилась. Уехал сын в Черногорию, спасаясь от несчастной любви. Да там и сгинул.

А потом она похоронила мужа и отослала горничную – к чему она ей?.. И осталась одна в доме – с усатой кухаркой. Теперь они делили на двоих свою скудную стариковскую жизнь.

Потом ушла и она – а вместе с ней и весь ее мир. В никуда, в никуда. И

ушли вместе с ней ее несбывшиеся мечты, неосуществленные планы, неоправданные надежды, нерастраченные желания, загубленные чувства, нераскрытые тайны, непрожитые страсти, неувиденные города, несношенные шляпки с вуалью и без и пышные кружевные юбки... Да что там юбки! Вместе с ней ушли крохотные мгновения радости, скудные минуты счастья, да и тяжкие хлопоты, заботы, тревоги, унижения – в общем, все то, что составляет человеческую жизнь во все времена.

Вот уже и внуки перестали ходить на старое московское кладбище. Что говорить о правнуках – в их лицах ее черты совсем истончились, лишь иногда всплывали медноволосые и белолицые люди, сильные духом – или это не передается по наследству? И зарос неровный серый крупитчатый камень склизким мхом, так что и буквы не разберешь. Да и кому это надо? Кто туда ходит? И к чему все это? Да так, ассоциации, или просто жизнь женщины.



## Грета

Безусловно, из всей этой огромной, шумной и не очень дружной семьи Аня больше всех любила тетку Грету. Хотя «теткой» ни про себя, ни тем более вслух ее никто и никогда не называл. Просто Грета. И она сама, и ее имя были настолько самостоятельны и независимы, что и в голову бы не пришло окликнуть ее простонародным «теть!».

Была она младшей и самой любимой дочерью в многодетной семье ювелира, обрусевшего немца Григория. Этот Григорий был крупным, волосатым и громким мужиком, и было удивительно, как он своими на вид неловкими пальцами-сардельками умудрялся делать такие изысканные и изящные вещицы и слыть самым известным мастером в городе.

Григорий похоронил совсем нестарых трех своих жен. Последнюю – хрупкую и болезненную Юлию, Гретину мать, долго умиравшую от лимфогранулематоза, любил сильнее других, носил в прямом смысле на руках, после ее смерти страдал безмерно, запил и стал еще более угрюм и придиричив.

В семье его все побаивались. Все, кроме младшей, Греты. Она знала, что любимица. Трех старших детей, от первой и второй жены, ювелир почти не замечал – даже единственного сына, честного и исполнительного молодого человека, студента мединститута. С ним, впрочем, он хотя бы поддерживал отношения.

Старшая его дочь, Нинель, геологиня, странноватая, как все женщины, живущие по полгода «в поле», неухоженная, с обветренным, красноватым лицом (кстати, из всех детей больше всего походившая на отца) и менявшая в каждой экспедиции очередного «мужа», приезжала домой ненадолго. В брезентовой спецовке, с рюкзаком, много курившая «Беломор», громко и грубовато разговаривавшая, она всем своим видом портила отцу жизнь. При виде Нинели его лицо перекашивала гримаса презрения и брезгливости.

Впрочем, своим обществом старшая дочь никому не досаждала и, надсадно кашляя, быстро прощалась с семьей, где ей тоже было неуютно, и отправлялась в дальнюю дорогу. Шепотом поговаривали, что в экспедициях Нинель попивала. Маленькая Аня понимала, что тетка (а это была уж точно «тетка») Нинель плохо пахла и делала что-то не то. Она Ане ужасно не нравилась.

Вторая сестра, уже от второй дедовой жены, Лариса, совсем оскорбила

отцовские седины, в десятом классе забеременев. В те-то годы! И сразу после выпускных выскочила замуж – да за кого! За мастера из телеателье. Кто кого соблазнил, было непонятно – но аккуратно после починки цветного «Рубина».

Муж ее, парень простой, деревенский, отличался свойственной многим деревенским смекалкой. Увидев квартиру ювелира, стал быстро действовать, понимая, что другого шанса внедриться в такую жизнь у него просто не будет.

Телевизор приходил чинить три раза, ссылаясь на недостаток дефицитных деталей. Со второго раза с доверчивой Лариской все и сладилось, третьим разом – закрепил, на всякий случай. Повезло, получилось. Но ювелир был вовсе не дурак: дочь из дома выгнал, и молодожены долго маялись в общежитии у телемастера. Однако настырная Лариска исправно рыдала через день под дверью отчего дома. Ювелир не выдержал и купил маленькую однокомнатную квартиру в Беляеве, тогда на краю Москвы.

Точка. Телемастер просчитался. Но, попив недельку-другую, решил, что своя однушка в Беляеве все же лучше, чем общага в Люберцах. Правда, к квартире прилагались орущий ребенок и вечно ноющая Лариска. Но если и не слюбилось, то как-то стерпелось – и через три года Лариска родила второго ребенка, уже сына. Перебивались. Но про себя, немного стесняясь своих мыслей, Лариска втайне надеялась, что после смерти жестокого, нелюбимого и старого отца все в ее жизни изменится с точностью до наоборот. И по ночам она перебирала в памяти все, что было оставлено в огромной квартире в Камергерском: бронзовые люстры, часы с амурами, подсвечники с малахитом, старинные китайские вазы, мейсенские сервизы, севрских пастушек и балерин, спальню из карельской березы... А главное, она пыталась вспомнить, что лежало у отца в кабинете, в китайском черном лаковом с перламутром ларце – серьги, кольца, цепи, – понимая, однако, что все лучшее и ценное хранится наверняка не там, а где-то в неведомых тайниках. А под утро, счастливая, засыпала, уговаривая себя еще немного потерпеть. Все должно было скоро измениться. Как оказалось, ошиблась...

Младшая же, Грета, любимица отца, ни о чем не мечтала. О чем мечтать, когда есть все? Только о любви. Потерю матери она пережила довольно легко, отплавав пару недель и взяв с отца слово, что он не приведет в дом женщину. Отец побожился. Уже в свои шестнадцать она была полноправной и единственной хозяйкой в доме – к тому времени старший сын, впоследствии Анин отец, женился и жил у молодой жены в огромной коммуналке на Кировской. Отец ему совсем не помогал.

И когда он, молодой и нищий врач, приходил в отчий дом два раза в год – на дни рождения Греты и отца, – потом, по дороге домой, его молодая жена громко и надрывно плакала от обиды за мужа, от ненависти к богатому и жадному свекру и почему-то – к совсем юной Грете. Еще, наверное, от бедности, от несправедливости, от жалости к себе и мужу – словом, от всего, что переполняло ее молодое и обидчивое сердце. И в который раз клялась себе и мужу, что больше никогда не пойдет в этот дом. Но проходило полгода, и она опять шла туда, в протекающих сапогах, с мокрыми ногами, в легком, не по сезону, пальто, шла и, стыдясь своих тайных мыслей, надеялась, что вот сегодня, сейчас этот богатый старик, видя их нелегкую и честную жизнь, хоть как-то облегчит ее. Тщетно.

К восемнадцати годам Грета превратилась в красавицу. Без изъянов. Небольшого роста, очень изящная, с осиной талией и крохотной ножкой, с прекрасным точеным лицом. Треугольные ноздри, миндалевидные серые глаза, небольшой чудесного рисунка рот. И волосы! Пепельные, пушистые, легкие и густые. Она их стягивала в узел, но на висках и сзади, на шее, выбивались прелестные легкие завитки. Особенно хороша она была в профиль.

Ювелир называл ее «камеей» и, не скрывая, любовался своим самым удачным произведением. Грета была очень сдержанна, немногословна, характером совершенно в свою покойную мать. С отцом вела разговоры исключительно по делу. Умело руководила и домработницей, и поварихой. Отец держал их, чтобы любимое дитя, не дай бог, не утрудило бы себя домашней работой. Она со всеми ладила, но держалась строго, даже слегка высокомерно – но это уже было свойство ее характера. Грету боялись даже больше, чем сурового хозяина. О том, как она одевалась и что носила на изящных пальчиках и в ушках, говорить не стоит.

После школы объявила, что пойдет в театральный. Отец ужаснулся, но перечить не стал. В театральный Грета провалилась, не помогла даже изысканная красота – ни темперамента, ни эмоций. «Снежная королева». Она была потрясена провалом, искренне веря, что все в этой жизни, чего бы она ни захотела, должно непременно исполняться. Отец же втайне был счастлив и безмерно рад финалу этой эпопеи.

Поступила в университет на немецкую филологию. Язык знала прекрасно – гены. Подруг в университете, впрочем, как и в школе, не завела, с братом и сестрами были людьми чужими. Словом, штучка та еще!

Но когда заболел отец, оказалась самой заботливой и трепетной дочерью. Умирал он долго и страшно, пережив две тяжелые операции, но метастазы наступали. Особенно пострадал мозг.

В тот страшный год она к нему никого не допускала. Кормила, переодевала, переворачивала, промывала и обрабатывала раны – все сама, одна, с плотно сжатыми губами. Взяла на год академический. Никому ни единым словом не пожаловалась. Не ждала помощи ни от брата-врача, ни от сестер, отрезав: «У вас своя жизнь». На похоронах не проронила ни единой слезы и не сказала никому ни слова. На поминках не вышла из своей комнаты, сутки просидев в темноте, в кресле. Сложен человек! Ох как сложен и неоднозначен!

На сороковой день сильно разъехавшаяся, ставшая совсем простонародной, под стать муженьку, теткой, сестра Лариса громко за столом спросила:

– Ну а делить-то когда все будем?

Грета подняла на нее свои ясные серые глаза и тихо, но внятно спросила:

– Ты это о чем?

– Обо всем, – с вызовом ответила Лариска и обвела рукой вокруг себя. Покраснел даже ее телемастер.

– Твоего тут ничего нет, – произнесла Грета.

– А что, все твое? Не подавишься? – наливаясь кровью, зашипела Лариска.

– Да. У меня есть завещание, – сказала Грета, резко встала и вышла из комнаты.

Спустя минуту, почему-то стоя, она зачитала последнюю волю отца. И после, спокойно и с насмешкой в глазах, обвела всю родню взглядом. Все – и огромная квартира в Камергерском, и то, что находится в ней, мебель, антиквариат, бесценная посуда, два подлинника Левитана и Айвазовского, драгоценности, сбережения и даже огромная старая и ветхая дача в Малаховке – все-все доставалось по завещанию ей одной, Грете.

Лариска запыхтела, казалось, ее хватит удар. Подала голос жена доктора, старшего сына. Дрожа от гнева, она говорила, что все это в высшей степени несправедливо, что все дети равны, даже не успевшая на похороны Нинель. Что все должно быть честно. И как у нее, у Греты, хватит совести не поделиться с братом и сестрами. Монолог был страстен, сбивчив и справедлив. Выслушав золовку, Грета ушла в свою комнату – понимай как хочешь. Страсти и обвинения в столовой кипели бурно, молчал только доктор, старший сын. А потом тихо сказал, что это воля отца и что нечего больше обсуждать. Кивнул своей беременной возмущенной жене: иди, мол, одевайся, поехали домой. Продолжая ворчать, она надела тяжелую, латаную мерлушковую шубу и, тяжело кряхтя, обула отекавшие

ноги в растоптанные влажные сапоги.

Лариска так просто сдавать свои позиции не собиралась, молотила кулаками в дверь Гретиной комнаты – та из комнаты не вышла. Потом ее, взмокшую и пунцовую, вытащил на улицу телемастер.

– Наплюй на них, проживем, – утешал он жену. – Жили же раньше без этих богатеев, не померли. – В своей нищете он был великодушен.

Назавтра Лариска обзвонила всю родню и знакомых и получила полную поддержку и абсолютное осуждение сестры. Хотя бы этим утешилась. Вот только доктор, благородный старший сын, запретил своей молодой жене участвовать в этих дразгах. Человек он был негромкий, но слово его было веско. Жена с неудовольствием притихла.

Грета позвонила родственникам спустя неделю и предложила собраться вечером того же дня. Весь прежний запал по поводу «знать не желаем» и «видеть не хотим» был тут же утрачен. Все явились как миленькие, притихшие и взволнованные, все в своих тайных мечтах и ожиданиях. Грета даже не предложила чаю, обвела всех взглядом и негромко сказала:

– Тебе, Саша (старшему брату), здесь деньги на трехкомнатный кооператив. Тебе, Лариса, – тоже. Еще вы можете взять из дома любую вещь, кроме мебели и картин, а также что-нибудь себе из черного китайского ларца.

Все молчали, переваривая информацию. С одной стороны, все, конечно, понимали, что это ничтожно мало, жалкая подачка, но с другой стороны – лучше так, чем никак.

– С паршивой овцы... – прошипела Лариска.

Деньги взяли и пошли по квартире, жадно перебирая глазами, а потом руками, мучаясь и боясь прогадать. Доктор с женой забрали серебряный чайный сервиз – четыре чашки, сахарница, молочник, подносик. Все – середина девятнадцатого века. А из китайского лакированного ларца золовка взяла длинную жемчужную нить (три раза вокруг шеи). Потом, к слову сказать, на этот жемчуг были куплены «Жигули» и построен финский домик на шести сотках в Жаворонках.

Лариска долго металась по квартире – схватила бронзовые часы с амурами, конец восемнадцатого века, долго копалась в ларце и вытащила серьги и кольцо, бриллианты с сапфирами, объявив это гарнитуром и потому одной вещью (что, впрочем, было правдой).

На улицу вышли все вместе. Отдышавшись, продолжили обсуждать Гретину жадность. Старший брат разговор не поддержал и жестко оборвал сестру и жену:

– Все вам мало! Она же осталась одна. И кто ухаживал за стариком, забыли? Неблагодарные вы и алчные люди. – И, махнув рукой, быстро пошел к метро. Испуганно засеменила рядом его беременная жена.

С Гретой не общались долго, лет шесть. Изредка ей звонил старший брат – двухминутный разговор, так, ни о чем. Она знала, что у него родилась дочка, Анюта, что они купили квартиру в Черемушках и что с Лариской он почти не общается, но что та сильно прибаливает.

Примирила всех, как ни странно, геологиня Нинель, пропавшая на несколько лет по причине проживания, как она выражалась, «на северах». Приехала в Москву в отпуск, остановилась в Камергерском, еще больше постарела, седая, почти без зубов, все в такой же робе, но оживленная, довольная жизнью. Осела в Тынде, вышла там замуж за молодого парня, строителя, моложе себя на четырнадцать лет. Вместе и пили, и пели, и мочили морошку, и солили грибы. А летом ездили в Сочи – гулять, денег было предостаточно.

Получив свою денежную долю, небрежно сунула ее в чемодан – не такие это были для нее деньги. От сервизов и ваз отказалась. Рассмеялась:

– Куда я это, в Тынду попру, что ли? – А в ларец даже не заглянула: – Я и бриллианты – не смешно ли?

Грета пожала плечами. Она Грету не осудила, а даже похвалила за шаг навстречу оскорбленной родне и, будучи человеком простым, без затей, но с благородным сердцем, сказала Грете, что надо бы всех собрать, ведь столько лет не виделись, и что это все плохо и неправильно. Как просто быть мудрой, когда тебя не волнует ничто материальное!

Нинель всех обзвонила, и странное дело – все с удовольствием приняли приглашение. Доктор пришел с женой и маленькой дочкой Анютой. Лариска детей оставила дома – надоели! Все встретились смущенно, но радостно, обнялись, забыв старые распри, – все уже пережили эту историю, разглядывали друг друга с интересом, показывали фотографии, хвастались квартирами и успехами. Заметили, что Грета еще больше расцвела и похорошела, Нинель состарилась, а Лариска «расползлась».

Грете очень понравилась дочка брата – маленькая Анюта, с прелестным смуглым лицом и яркими черными глазами. Девочка чуть припадала на одну ножку.

– Что с ней? – спросила Грета у брата.

– Последствия родовой травмы, но есть шанс исправить после того, как пройдет бурный рост костей.

Грета ужаснулась: такая красивая и умная девочка, и несколько

операций, костыли, год в гипсе. Кошмар. И еще больше прониклась к девочке.

Все много ели, шумно перебивали друг друга. Было видно, что все равно это семья – единый, пусть и больной организм. И все чувствовали, что находятся в старом родительском доме.

Грета порозовела, оживилась, а на прямой Ларискин вопрос, что, дескать, замуж не выходишь, развела руками – не берут! Больше о личном ей вопросов не задавали.

Расходились за полночь, довольные друг другом. Маленькая Анюта спала в Гретиной комнате, будить не стали.

Утром Грета старательно варила племяннице манную кашу и взбивала вилкой омлет. Потом они гуляли в сквере у Большого театра, и девочка собирала с земли красивые желто-красные райские яблочки – для кукольного компота. Обедать отправились в «Националь».

Девочка ела плохо, но старалась не обидеть Грету. Вообще, она была потрясена происходящим, от смущения много болтала и опрокинула бокал с яблочным соком. Грета тоже мало ела, пила кофе с берлинским печеньем, много курила и уже почти влюбленно смотрела на девочку.

Уезжала домой Анюта вечером, с переполненным благодарностью и любовью сердцем. Теперь у нее был кумир и предмет обожания на всю жизнь – Грета. И почти каждые выходные, как «Отче наш», Анюта ездила к Грете в Камергерский. Сначала ее возил отец, потом, лет с десяти, она добиралась сама, на метро. Мать ее даже слегка ревновала и все надеялась, что, когда Грета устроит свою жизнь, увлечение Анютой пройдет само собой. Просчиталась.

Грета замуж так и не вышла. О ее личной жизни в семье никто ничего не знал. Хотя, естественно, конечно, личная жизнь у такой красивой и богатой женщины должна быть непременно. Хотя, зная эту Снежную королеву и молчунью... Даже Лариске, пытавшей Анюту, ничего не удавалось узнать. Да и что она могла знать? Никаких следов мужчины в квартире Анюта не замечала.

Грета жила одна, и только три раза в неделю к ней приходила убирать и готовить пожилая женщина, служившая у нее уже добрый десяток лет. Работала Грета немного, в издательстве какого-то журнала, о работе своей говорила одно: «Скучно». С подросшей Анютой часто вечерами ходили на «лишний билетик» в театр, который обе обожали. Раз в год Грета уезжала в Ялту, в санаторий, и, конечно, при первой возможности покупала путевки за границу. Побывала всюду, куда пускали в те годы.

Племянницу баловала, но в меру: норковых шуб и бриллиантов не

дарила, а вот джинсы, туфли на платформе, магнитофон у Анюты были первые в классе. В Камергерском собирались два раза в год – на день рождения отца и в годовщину его смерти. С годами Грета как-то потускнела, ссутулилась, как будто немного усохла, и даже завистливая Лариска ей уже не завидовала. Чему завидовать? Одиночеству, бездетности? Теперь она чувствовала свое бабье превосходство над сестрой. Понимала, что та от одиночества прилепилась к Анюте, злилась, что не к ее детям, хотя чувствовала, что прикипеть к ее невоспитанным и хамоватым отпрыскам откровенно трудно.

В шестнадцать лет Анюту положили на операцию. Грета оплатила лучших врачей, тревожилась, ездила каждый день в Боткинскую с икрой и черешней. После операции забрала Анюту к себе. Родители возражали, но так сначала захотела сама Анюта. Мать бросила обиженно: «Я тебе уже почти никто». Ревность. Но Анюта как-то быстро заскучала по родителям, друзьям, дому. Попросилась домой. Теперь обиделась Грета. Но виду не подала, только губы чуть сжала. И, оставшись одна, долго сидела в старом плюшевом кресле, перебирая свою жизнь, день за днем, тщательно, как косточки в рыбе.

Романов в ее жизни было два, нет, даже скорее полтора.

Первый, весомый и значительный, – с преподавателем в институте, пятидесятилетним профессором, полноватым и лысоватым очкариком, отнюдь не красавцем. Конечно же, женатым. Роман развивался по всем законам жанра – с тайными встречами, ранними вечерними уходами в семью, с пустыми и одинокими выходными. Ревностью, слезами, враньем. Она сделала от него два аборта – почему не родила? Знала, что из семьи он не уйдет. Расстались они через двенадцать лет, измочалив друг друга окончательно.

Примерно через два года, в турпоездке в Югославию, она сошлась с инженером-ровесником из Саратова. Он, видя ее элегантность, попросил помочь купить что-нибудь жене. Грета помогла. А вечером он решил ее отблагодарить так, как понимал благодарность. Благодарил до утра. Такого у Греты еще не было. Она была потрясена. Все то, что происходило в постели между ней и профессором, казалось ей теперь нелепым и смешным. Инженер приезжал из Саратова примерно раз в три месяца, чаще не получалось. Разводиться он не собирался – обожал двух своих мальчишек, да и жену, знакомую ему с первого класса, тоже по-своему любил. К богатству был абсолютно равнодушен, а Москвы даже побаивался. К Грете относился нежно, но особо влюблен не был.

Она же его очень ждала, тщательно готовилась к несчастным встречам,



хотя и понимала, что это не совсем любовь, а скорее что-то другое. Единения душ у них так и не произошло. Но со временем это Грете стало устраивать. По крайней мере, не нарушало привычный ритм ее жизни. А к одиночеству она уже привыкла.

История эта тянулась довольно долго, но была необременительна для обоих, и когда как-то легко и плавно постепенно закончилась, оба этому не удивились. Свою одинокую жизнь она воспринимала теперь как благо и совсем не завидовала шумным семьям своих родственников и знакомых. В конце концов, у нее были сестры и брат, а главное – Анюта, родная душа.

Анюта поступила в институт только в восемнадцать лет, когда закончились ее мытарства по больницам. Закончились, правда, не совсем удачно: чуть-чуть, еле заметно, но она слегка припадала на левую ногу. Поступила, конечно, в медицинский. Отец ее был счастлив. К Грете теперь ездила реже – появилась своя, бурная студенческая жизнь. Наверстывала. На первом же курсе случился стремительный роман с однокурсником. Забеременела через полгода. Однокурсник был испуган, но жениться не отказывался. Уже через месяц, к свадьбе, Анюта поняла, что не любит его, что все это зря, но ресторан был заказан и платье сшито – все устроила Грета. Отказаться не хватило духу.

К Новому году родила девочку, назвала Юлькой, с никудышным мужем-студентом развелась спустя год, еле протянули. Родители очень помогали с дочкой, но все равно было тяжело. Мать много болела, отец пропадал в больнице сутками, сессии, практики... К Грете почти не ездила, та обижалась и не понимала всех тягот Анютиной жизни. Ревновала Анюту к дочке – совсем уже глупость. Поэтому стала вредничать и почти не помогала Анюте материально. Ну да бог с ней, пыталась не обижаться Анюта.

Грета ушла с работы – надоело. Чтобы не заискнуть, переводила то, что было интересно, брала работу на дом. Стала подолгу жить на старой даче в Малаховке. Это была классическая старая подмосковная дача, с огромным лесным участком, большим и нелепым домом, полукруглой верандой с цветными стеклышками, с белым кафелем голландских печек. Грета, конечно, украсила свой дачный быт – провела в дом воду и отопление, выбросила трухлявую, изъеденную жучком мебель, оставив только огромный резной буфет и круглый столик с мраморной щербатой столешницей – уж в таких вещах она знала толк.

Жила она на даче с мая до конца сентября. Образ жизни Греты там почти не менялся, только теперь она дольше гуляла по старым зеленым дачным улицам и больше читала, а спала почти до полудня. Посадила вдоль

дорожки от калитки нехитрые цветы – душистый табак и ноготки, а турецкая гвоздика и флоксы давно уже разрослись плотной и ароматной стеной. С удовольствием ходила на старый малаховский рынок, в ту пору действительно крестьянский – с живыми кроликами и курами, покупала жирный домашний творог и ароматное сало с бордовыми прожилками мяса.

Была она еще совсем не старая женщина, по-прежнему с прекрасным лицом и стройной, моложавой фигурой. Привычкам своим не изменяла и даже, копаясь (слегка!) в цветочных грядках, своих уникальных колец и браслетов с рук не снимала. Соседи пытались завести с ней обременительную дачную дружбу, но дальше калитки разговоров она не вела.

Анюта окончила институт и работала в старой городской больнице, где всю жизнь проработал ее отец. Правда, отделения у них были разные – Анюта пошла в тяжелейшую «травму». Дочка Юлька росла девочкой избалованной и капризной – полная противоположность маленькой Анюте. Да и внешне – копия своего нерадивого папаши: бесцветная, светлоглазая, никакая. Бабка с дедом обожали ее сверх меры (отсюда и результат).

Личная жизнь Анюты, уже Анны Александровны, никак не складывалась. Мать сокрушалась: как девочке не везет! Случился, правда, один небольшой романчик с хирургом из смежного отделения, но тот был красавец, плейбой, избалованный всем женским персоналом больницы – от медсестер и врачей до ходячих больных. Впрочем, так же, как красив, был он глуповат. Анюта, правда, свое отстрадала, отвздыхала – как положено. Через полгода он, встречаясь с ней в длинных больничных коридорах, небрежно слегка кивал. Ничего, пережила. Словом, жизнь состояла из работы и дома, обычная, как, впрочем, у многих.

А кипение страстей? А бури чувств? Как накликала! Весной начался абсолютно безумный роман с больным. Поняла, что пропала, сразу, как только увидела в палате этого молодого, мускулистого, узкоглазого парня. Он был кореец, спортсмен, родом откуда-то с Урала. В Москве жил без прописки и, естественно, площади, перебиваясь случайными заработками и временным жильем. Преподавал в каком-то «занюханном» клубе при жэке спортивную борьбу, там же, в клубе, и жил – в пятиметровой каморке. В больницу попал с тяжелым переломом ноги, в каморке без ухода и пищи оставаться было невозможно.

Когда Анюта в гипсовой осматривала его ногу, то чувствовала что-то, до той поры ей неизвестное, и парень пошутил про ее ледяные руки, пошловато интересуясь степенью горячности ее сердца. Все случилось там

же, в гипсовой, на ее ночном дежурстве. Как только ухитрились, что они вытворяли там, несмотря на его загипсованную конечность и спартанские условия медкабинета!

Утром, в метро, она ехала с закрытыми глазами и, вспоминая, чувствовала тяжелый и острый жар по всему телу. Как предательски сладко болел низ живота, как краснела она за себя – и ведь не подозревала раньше о том, какая она, оказывается, на самом деле. Теперь она летала на работу. Да что там работа, теперь она вообще летала!

Смотрела мимо людей, слушала вполуха и замирала от своих мыслей и желаний. Она была его лечащим врачом и делала все, чтобы как можно дольше под всяческими предложениями удержать его в больнице. Из дома носила бульон и курицу, у метро покупала апельсины и шоколадки, стыдясь, что отрывает от дочки.

Но время выходило, и на утренней конференции резко, при всех, заведующим предложил ей немедленно выписать больного по фамилии Ким. Все обернулись и посмотрели на Анюту. После работы поймала такси и повезла его на окраину в его каморку. А там их ждал амбарный замок на двери. Не дождавшись его, секцию по борьбе распустили, а в его каморке сделали подсобку для водопроводчиков. Сидели на ступеньках, курили, молчали, не зная, что делать дальше. И вдруг Анюту как осенило – к Грете, в Малаховку.

– Господи, какая я идиотка! – лепетала она. – Как я сразу не догадалась, тупица, ведь это же выход. И такой чудесный выход! Какая удача, да нет, просто счастье! Я буду приезжать часто, а тебе там будет хорошо, тебе там понравится.

О влюбленные, как вы эгоистичны! Как вам не хочется замечать ничего вокруг, ничего, что бы вас отвлекало от главного предмета вашей истории! Но кто же не был «там»? Кто осудит вас за это? Вы достойны лишь нашего великодушного снисхождения! И только.

В тот момент Анюта совершенно и категорически забыла про непростой Гретин нрав, про ее жизненные устои и образ жизни. Скорее туда, на старую дачу, в Малаховку – там она совет пока гнездо их любви!

Вид у Греты был совершенно ошарашенный, а еще растерянный и недовольный. Но отказать сразу, в дверях, она все же не решилась. Провела их в дом, накрыла чай, нарезала сыру и хлеба. Потом, когда Ким, еще совсем слабый, уснул на террасе в кресле, Грета поманила Анюту пальцем и вышла с ней на крыльцо.

– Ты что, спятила, привезла какого-то странного мужика? Что ты знаешь о нем, безумная? Кто он, что он, что натворил в этой жизни?

Совсем тебе голову снесло. А обо мне ты подумала, мне это надо? Дом свиданий решила здесь устроить?

Грета всегда была пуританкой. Анюта расплакалась, долго просила извинения, пыталась объяснить и оправдаться, потом почти обиделась и сказала, что завтра его заберет, но умолила на эту ночь, первую после больницы, его все же оставить. Грета махнула рукой и, не попрощавшись, ушла к себе. Белье не дала. Анюта уложила Кима в одной из комнат, прикрыв старым, вытертым пледом. Ему было все равно, он уже опять спал как убитый.

Заливаясь слезами от жалости к себе, к нему, к своей любви и неустроенной их жизни, плелась она на станцию, громко всхлипывая и прикуривая одну сигарету от другой.

Назавтра в Малаховку не поехала – схитрила, пусть еще один день вылежится, и лихорадочно стала искать малую возможность пристроить любимого. Ничего не получалось. Не удалось поехать и на следующий день: случилась беда с отцом – инфаркт. Месяц не выходила из палаты, он был очень плох, но, слава богу, выходили. Когда наконец собралась в Малаховку, увидела себя в зеркале – тощая, с почерневшим лицом, с такими заметными седыми нитками в темных волосах. Вздохнула и поехала.

На душе было черно – от постоянного и ежеминутного страха за жизнь отца, от жалости к матери, сразу ставшей беспомощной и растерянной старухой, от затянувшегося вынужденного обмана Греты, от стыда за все это, от отчаяния и отсутствия выхода в их с Кимом ситуации. Была готова к тому, что Кима в Малаховке нет, и боялась, что теперь не сможет найти его. Но надо было скорее объяснить с Гретой и облегчить больную совесть. В поезде опять плакала, отвернувшись к окну, а по дороге к дому от волнения покрылась испариной, чувствуя себя нелепой и виноватой перед отцом, матерью, дочкой, Гретой и Кимом. Хорош букет!

Когда подошла совсем близко к дому, то услышала громкие голоса, смех, какое-то фырканье. Растерялась, оглянулась. Дом был крайним, и звуки точно раздавались с Гретиного участка. Недоумевая, осторожно подошла к редкому, старому штакетнику, заросшему жимолостью и жасмином. И то, что она увидела в следующие несколько минут, ее ошеломило, прибило, расплющило и окончательно добило. Во дворе, возле водяной колонки, плескались, обливая друг друга водой, полураздетый Ким и женщина, худенькая, в шортах и легкой открытой майке, с длинными распущенными волосами. Им обоим было страшно весело. Обливаясь водой из шланга, поочередно выхватывая его из рук, они громко смеялись,

называя друг друга какими-то понятными только им словами, а потом замерли и обнялись. Когда женщина отстранилась от Кима и, грациозно наклонясь вбок, начала отжимать свои тяжелые волосы, Анюта наконец поняла, что эта женщина и есть Грета. И еще она поняла одно: ей нужно скорее бежать оттуда, как можно скорее. Больше она не понимала ничего. Почти бегом она спешила к станции, голова была совершенно пуста, и только четко и безостановочно стучало одно слово. Бежать, бежать. От кого?

В набитой электричке она вдруг увидела место у окна и подумала, что ей повезло. И когда, запыхавшись, плюхнулась на жесткую деревянную скамью, спустя минут десять, когда вообще смогла о чем-то подумать и отдышаться, она вдруг поняла, что ей, наверное, вообще здорово сегодня повезло – ну, если задуматься, – что все случилось именно так, а не иначе.

И что открылось про этого человека ей так быстро, и что никого не придется больше обманывать, и что не надо с кем-то делить родителей и дочку, и что опять можно начинать ждать чего-то, обязательно хорошего. И еще она подумала, что, когда все она окончательно переживет, ей будет точно смешно и что она совсем не будет злиться на Грету. А Ким? Ну, с него-то вообще какой спрос? Да и кто он ей, в самом деле? И еще рассмешила почему-то возникшая мысль про Лариску, мимо которой опять проплывал караван с богатством. Потому что нарисовался вполне реальный претендент на все это. А он уж своего не упустит. Будьте любезны. И еще почувствовала, как упоительно пахло в вагоне флоксами, и закрыла глаза, и даже чуть-чуть улыбнулась, качнув головой.

Она же всегда была разумной и положительной девочкой.